

Энтони  
Бёрджесс



## Право на ответ

[ роман ]



# Энтони Бёрджесс

## Право на ответ

### Серия «XX век / XXI век – The Best»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=51689243](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51689243)*

*Право на ответ : [роман] / Энтони Бёрджесс: АСТ; Москва; 2020*

*ISBN 5-17-121068-7*

### Аннотация

Англичанин Энтони Бёрджесс принадлежит к числу культовых писателей XX века. Мировую известность ему принес скандальный роман «Заводной апельсин», вызвавший огромный общественный резонанс и вдохновивший легендарного режиссера Стэнли Кубрика на создание одноименного киношедевра.

В захолустном английском городке второй половины XX века разыгрывается трагикомедия поистине шекспировского масштаба.

Начинается она с пикантного двойного адюльтера – точнее, с модного в «свингующие 60-е» обмена брачными партнерами. Небольшой эксперимент в области свободной любви – почему бы и нет? Однако постепенно скабресный анекдот принимает совсем нешуточный характер, в орбиту действия втягиваются, ломаясь и искажаясь, все новые судьбы обитателей городка – невинных и не очень.

И вскоре в воздухе всерьез запахло смертью. И остается лишь гадать: в кого же выстрелит пистолет из местного паба, которым владеет далекий потомок Уильяма Шекспира Тед Арден?

# Содержание

Глава 1	5
Глава 2	32
Глава 3	56
Глава 4	72
Глава 5	97
Конец ознакомительного фрагмента.	98

# Энтони Бёрджесс

## Право на ответ

### Глава 1

Я рассказываю эту историю по большей части ради собственного блага. Мне самому хочется уяснить природу того дерьма, в котором, похоже, пребывает множество людей в наши дни. Мне не хватает интеллектуальной оснастки, опыта, и я не владею терминологией в достаточной степени, чтобы сказать – социальное ли это дерьмо, религиозное оно или нравственное, но его присутствие несомненно – присутствие в Англии и, по всей видимости, на «кельтской окраине», по всей Европе, да и в Америке тоже. Я способен унюхать смрад этой клоаки, в отличие от тех, кто никогда не эмигрировал из нее, – тех добрых человечков, которые при своих телеящиках, забастовках, футбольных тотализаторах и «Дейли миррор», обладают всем, что их душе угодно, за исключением смерти – поскольку я всего четыре месяца провожу в Англии, теперь каждые два года, и всякий раз зловоние бьет мне в нос, распространяясь в теплом воздухе, сразу после приземления и недель шесть после того. Затем помалу гнилостный дух ползет вверх, подобно туману, обволакивающему поезд, и я, зевая у телевизора в домике моего отца и при-

ходя изредка в паб за пять минут до открытия, ощущаю проклятие, разношенное, как пара башмаков, я сам становлюсь гражданином этой клоаки, и единственное мое спасение – необходимость сесть на самолет БОАК в лондонском аэропорту или отправиться в круиз «Пи-энд-Оу» – Кантон-Карфаген-Корфу – из Саутгемптона и тем самым сократить мое пребывание в Англии.

Сейчас я чувствую себя так, словно в каждой руке у меня по сэндвичу и я не знаю, от которого откусить сначала. Мне хочется побольше рассказать вам об этом дерьме и одновременно хочется, чтобы вы узнали, как же так вышло, что у меня (мне это частенько говорят) такая завидная житуха – два года солнца или по меньшей мере экзотики и необременительной работы с последующими четырьмя месяцами изоляции и достаточно нагулянный аппетит, чтобы прожевать внушительный пудинг, именуемый тоской по отчужденному дому. Этот большой пышный пудинг – не такая уж и тяжелая пища, сплошные фрукты и никакой муки, это длинный перечень развлечений в «Ивнинг стэндард», путешествие – теплое темное пиво в корабельном баре – из Ричмонда в Вестминстер, вечернее надиралово в полуподпольных клубах размером с сингапурский туалет (сверкающая в электрическом свете струя мочи после бесчисленных «еще по одной», мною заказанных), танцующие под музыкальный автомат мужские жены, которые не прочь порезвиться, пока их не умчит такси в шесть часов (в электродуховке с тай-

мером как раз поспела запеканка для благоверного), и все такое прочее. Любой, кстати, кто завидует моей завидной двойной жизни, любой, кто достаточно молод, мог бы и сам попробовать так пожить. Колониальных гражданских служащих повсюду пруд пруди, но торговые компании по-прежнему страстно предпочитают блестящих молодых людей (хорошее образование не обязательно, но желательно, приветствуется правильное произношение, светлые волосы), чтобы продавать бриллианты, сигареты, мотороллеры «Ламбретта», цемент, швейные машины, лодочные моторы, очищающие воздух растения и ватерклозеты в тех жарких странах, которые только что добились своей бóрзой независимости. Я уже давно не «блестящий молодой человек», но компания явно все еще находит меня полезным. (Я начитан, читаю за поем. Я могу быть очаровашкой, могу пить что угодно). Мне даже разрешено за счет компании раз в два года летать из Токио и обратно на удобно откидывающихся сиденьях первого класса (мне уже за сорок, и я путешествую «по-стариковски»). Пройдут годы, и я удалюсь на покой, хотя один Бог знает, где это будет, с весьма солидной пенсией. Кстати, меня зовут Дж. У. Денхэм.

Ну а теперь – второй сэндвич, но в него так просто не вгрызешься. Пообкусываю по краям, ведь зубы-то уже не те. Сразу по прибытии, в поездной копоти и гоготе аэропортовского бара я вступаю в послевоенное английское дерьмо. Оно возникает от избытка свободы. Наверное, это звучит

глупо, если поразмыслить о том, как мало свободы осталось в современном мире, но мои рассуждения не о свободе политической (не о праве костерить правительство в местном пабе). Я не считаю политическую свободу такой уж важной, во всяком случае, она важна для одного процента общества, не более. На востоке меня забавляло то, как граждане новоиспеченных независимых территорий, задрав штаны, бежали в страны, по-прежнему стонущие под британским ярмом. Им не нужна была никакая свобода, они хотели стабильности. Нельзя иметь сразу и то, и другое.

Я здесь не проповеди читаю, я хочу рассказать историю, но не могу обойти стороной эту тему. Действительно, невозможно иметь и свободу, и стабильность одновременно. То, что отвечает за стабильность, неосвязаемо, но, утратив ее, начинаешь страдать. Думаю, сама идея принадлежит Гоббсу<sup>1</sup>, но теперь я поминаю сию фамилию с большой опаской из-за обычного дурацкого недоразумения, случившегося как-то вечером в клубе, когда все подумали, что речь о крикете<sup>2</sup>.

Вы страдаете от дерьма, великого демократического дерьма, где нет ни иерархии, ни шкалы ценностей, и все настолько же хорошо, насколько все плохо. Однажды мне довелось прочесть научную статью, в которой утверждалось, что иде-

---

<sup>1</sup> Томас Гоббс (1588–1679) – английский философ, создатель теории гражданского общества.

<sup>2</sup> Сэр Джон Берри «Джек» Хоббс (1882–1963) – английский профессиональный игрок в крикет.



альный порядок возможен только при низких температурах. Выньте продукт из морозилки, и он вскоре испортится. Он вырвался из цепких лап холода, державших его в узде, и теперь становится весьма динамичным, бурлит и пенится, как политический митинг, но приходится его выбросить. Это дерьмо. Но весь ужас в том, что можно употребить тошнотворный продукт в пищу, съесть дерьмо. Правда, от этого недолго и окочуриться. Митридат, пожалуй, единственный ядоед, который дожил до старости<sup>3</sup>. Надругавшийся над стабильностью долго не протянет.

В начале моего повествования я проводил очередной отпуск в пригороде довольно большого и чопорного города одного из центральных графств, куда мои родители переехали после того, как отец ушел на пенсию (он был типографом в Северном Уэльсе), переехали в основном по настоянию моей сестры, муж которой руководил школой в нескольких милях от города. Мать умерла внезапно, в самый разгар моего рабочего срока (я присматривал за филиалом компании в Осаке), и я даже не смог приехать на похороны. Отец и сестра никогда не любили друг друга, и Берил была истинной маминой дочкой. А ко мне мама не питала теплых чувств с

---

<sup>3</sup> Античная легенда, повествующая о смерти понтийского царя Митридата, говорит, что царь, проигрывая изматывающую двадцатипятилетнюю войну с Римом, был в конце концов предан всеми. Пытаясь избежать пленения и позора, правитель Понта принял яд, но тот не подействовал из-за выработанного с детства иммунитета – Митридат всю жизнь принимал яды, чтобы избежать отравления.

тех самых пор, как, еще в Северном Уэльсе, когда мне было шестнадцать, застучала меня в сарае с девчонкой, жившей через три дома от нас. Позор, бесчестие и т. п. Как бы там ни было, Берил получила в наследство мамины восемьсот фунтов и вложила их в липовый коттедж в деревне в двенадцати милях от бедного старого овдовевшего отца. Сестрицу свою я всегда терпеть не мог. И однажды выучил наизусть стихотворение какого-то графомана о женщине того же сорта по имени Этель, заменив Этель на Берил. Помню две строфы оттуда:

Берил – всем дочкам дочь! Всегда и везде  
Склизкая верность дочерняя сочится  
Из мяса, отмытого ею в жирной воде,  
Из пирога, на который и кот не польстится.

Чрево и мать станут прахом сполна.  
Потерю сию восполнить есть ли средство?  
Стало быть, из почтения дочь должна  
Прибрать к рукам все наследство<sup>4</sup>.

Я не огорчился. У меня в банках Гонконга и Шанхая денег больше, чем Берил когда-нибудь сможет увидеть в своей жизни. Я о том, что она, конечно же, переживет меня, но *моих* денег ей не видать.

---

<sup>4</sup> Все стихи, если об этом не сообщается отдельно, даны в переводе Елены Калявиной.

Мой овдовевший отец так и застрял в этом захолустном доме, который он никогда не любил. Он готовил себе сам, переложив прочую хозяйственную доуку на приходившую раз в неделю востроносую женщину, которая всякий раз громко пыхла, вытряхивая половики. Отец не зналс с местной общиной, но считал бессмысленным переселятьс куда бы то ни было. Только громоздкий дубовый стол был выселен из отцовского «логова» наверху – выселен через окно, одно это уже было великим свершением – даже опосредованно – для человека его лет. Он заботливо расставил книги (тут было несколько раритетных изданий, которые он сам и набирал), хотя на самом деле книгоцеем отец не был никогда. Если он говорил, что некая книга «прекрасна», это касалось только полиграфии. Он вбил поглубже в стены дюбеля для крюков, на которых развесил свои картины (Милле, Холман Хант, Роза Бонёр). Здесь ему было не лучше и не хуже, чем в любом другом месте. Чуть погода он снова увлекся гольфом. Владелец маленькой фабрики, работник местного супермаркета или коммивояжер, торгующий медицинским оборудованием, подвозили его воскресными утрами на игру. А в воскресенье пополудни он играл в шарики с викарием высокой церкви<sup>5</sup>. У отца вошло в привычку каждый вечер

---

<sup>5</sup> Высокая церковь (High Church) – название одной из трех партий в англиканской церкви. В отличие от низкой (Low Church) и широкой (Broad Church), из которых одна строго держится протестантского взгляда на церковь, как она определяется в символических XXXIX членах веры англиканизма, а другая впадает в мистицизм, граничащий с рационализмом, высокая церковь на первый

к девяти ходить в «Черный лебедь», чтобы выпить полторы пинты горького эля и обсудить с друзьями по гольфу спортивные телепрограммы. Викарий появлялся в пабе лишь раз в неделю – воскресным вечером после службы, прямо в облачении; он опрокидывал пинту, приговаривая: «Господи, до чего иссушает эта работа!» Мне думается, что так он старался подчеркнуть свою принадлежность к высокой церкви.

«Черный лебедь» среди местных жителей был известен как «Флаверов козырь» (вероятно, камешек в огороде пивовара Флауэра<sup>6</sup> из Стратфорда-на-Эйвоне). И совершенно закономерно, что владел этим пабом некий Арден из деревушки неподалеку от Уилмкоута – той самой, откуда была родом Мэри Шекспир, в девичестве Арден, дочка тамошнего фермера. Стоило только взглянуть на Теда Ардена, чтобы увидеть, что Уильям наш Шекспир и ликом, и челом (если уж не тем, что под этим челом) удался в Арденов. Крепкая ветвь, эти Ардены, а вот Шекспиры, по всей видимости, жидковаты оказались. И брови, выгнутые, как скрипичные эфы, и ранние залысины, и глаза с развесистыми веками – все у Теда Ардена было точь-в-точь как у Шекспира на самом известном его портрете, а еще хозяин паба был наделен особым обая-

---

план выдвигает идею церкви как богоустановленного общества, имеющего строгую иерархическую организацию и обладающего особым, от апостолов унаследованным, священным авторитетом.

<sup>6</sup> Чарльз Эдвард Флауэр (1830–1892) – пивовар и филантроп, построивший Шекспировский мемориальный театр в 1864 году – в ознаменование 300-летия со дня рождения Шекспира.

нием, которое, невзирая на неистребимый мидлендский говор, почти полную неграмотность и отсутствие многих звуков, определенно открывало ему все двери – фамильное обаяние Арденов, наверняка его унаследовал и сам Шекспир. Люди любили делать Теду приятное: коммивояжеры привозили ему из Лондона заливных угрей; диковинные настойки, наливки и наборы подставок под кружки попадали к нему прямо с «континентальных» ярмарок; косматые тертые калачи – завсегдатаи бара – притаскивали ему диких кроликов, уже ободранных и потрошенных («Ты взглянь, скока жира у их вокруг почек-то!» – говаривал Тед восхищенно). Именно обаяние добыло ему жену, которая, как говорится, была леди до самых кончиков ногтей. Вероника Арден обладала патрицианским голосом, звеневшим, словно ключ в часы закрытия. По-мальчишески худошавая, белокурая, без единой сединки в свои сорок шесть, она напоминала пучеглазого юного поэта. Какие-то неведомые болезни изнуляли Веронику, она перенесла несколько операций, о которых не распространялись. Когда поздним вечером она появлялась за стойкой (ровно за час до сутолоки перед закрытием), мужчины, сидящие за столами, вздрагивали, как будто чувствуя, что обязаны встать – так она действовала на людей. А когда она, одетая для Ежегодного бала лицензированных рестораторов – в роскошном платье и драгоценностях, в меховой накидке на плечах, – ожидала, пока Тед подгонит автомобиль, у тебя возникало такое ощущение, что она оказывает тебе слишком

большую честь – если кто и шлепнул там или сям пару лишних пенсов за бочковое пивко, то я очень сомневаюсь, чтобы хоть раз он на то посетовал.

Супруги Арден были душой, сущностью этого паба. В те вечера, когда им приходилось отлучаться, заведение оставалось на попечение безобидного малого, приветливого, как ледник, и тогда становилось тем, чем было на самом деле: трактиром – пристанищем безотрадных горластых пьяниц, с нужником во дворе, куда частенько приходилось прогуляться под дождем, с неистребимой рыбной вонью в «лучшем зале», сочащейся из хозяйской квартиры наверху, поскольку Тед обожал рыбу и готовил ее себе ежедневно. При Теде этот рыбный запах обретал лоск – было в нем что-то раблезианское или что-то, напоминающее о бесшабашных морских портах. А в его отсутствие запах был просто вульгарен – как пердеж губами или древнеримский сигнал, заунывный, словно тягучее органное остигато. Рыба была еще одним подношением Теду от посетителей – дуврская камбала, палтус, копченая селедка («Сто лет как их не едал, моих рыбочек»). Однажды я пригласил супругов на обед в отеле в Рагби и познакомил Теда со скампи – крупными креветками, обжаренными в панировке. Он был потрясен – новый мир открылся перед ним. Попивая кофе с бренди, он заметил:

- Скампи ихние просто охеренно изумительные.
- Эдвард, окстись, – укорила его Вероника, – ты сейчас не в общем баре!

– Извиняюсь, голубушка, но они взаправду такие и есть! – и продолжил, идя к машине: – Утречком я первым делом сяду на телефон. Охеренно изумительные. Закажу себе этих скампиев к ланчу.

Было большим удовольствием услужить Теду. Он всегда умел быть благодарным. Можно понять, почему Шекспир так хорошо ладил с графом Саутгемптоном<sup>7</sup>.

«Черный лебедь» стоял в эпицентре разлагающейся деревни, грязного пятнышка, которое оплетал жемчужно-чистенький пригород. Деревня скукожилась до того, что стала меньше акра. Она походила на крошечную резервацию аборигенов. Имбецилы злобно пялились сквозь немытые окна на клочки травы; день-деньской распевали петухи; маленькие девочки в передничках из прежних эпох обхрумкивали огрызки яблок; казалось, что у всех местных мальчишек «волчья пасть». И все же эта деревня казалась мне куда здоровее, чем окружающий ее пригород.

Кому дано описать величие этих подпирающих друг друга боками многоквартирных домишек, эту штукатурку с вкраплением серой гальки на торцевых стенах, эти калитки, которые запросто можно перешагнуть, этих глиняных истуканов в игрушечных садах? Этот ветер, пронизывающий все пространство вокруг, ветер древнего холма, погребенного под слоями щебня, ветер хлесткий, будто край мокрого по-

---

<sup>7</sup> Генри Ризли, 3-й граф Саутгемптон (1573–1624) – один из покровителей Уильяма Шекспира, один из предполагаемых адресатов сонетов Шекспира.

лотенца. Он перемешивал серый бульон над красными крышами, и в этом супе бурлили телеантенны, похожие на макароны изделия в виде больших букв: X, Y, H, T...

Был воскресный вечер. Мы с отцом угорали от газового камина в гостиной, поклеывая носами перед голубым экраном. У отца теперь было целых два телеканала на выбор – недавнее нововведение, – и мы переключились с библишной викторины на коммерческий канал, восхваляющий жесткие действия американской полиции. Отец не стал покупать специальную новую антенну, но коммерческий ретранслятор оказался неподалеку, так что и прежняя одноканальная антенна ловила его сигнал довольно легко. Одна беда – все передавалось в удвоении. В шаге за спиной у каждого персонажа находился его *Doppelgänger* — его второе «я». Местные электрики утверждали, что все из-за шпилья деревенской церкви – он, словно передатчик некоего враждебного государства, все искажал, и коверкал, и путал. Не то чтобы электрики особенно пеняли на шпиль, нет, они просто советовали жителям заменить антенны. Мой отец, имея в партнерах по гольфу настоятеля высокой церкви, вообще не обращал на помехи особого внимания, да и зрение у него сдавало.

Фильм о жестокости полиции закруглился послесловием бугая-полицейского в фетровой шляпе. Он сообщил нам, что полицейские подразделения Штатов нам друзья, и долг каждого честного американца содействовать им в напряжен-



ных усилиях, направленных на то, чтобы стереть с лица земли кокаиновый трафик. Потом мартышки рекламировали чай, потом был балет мыльных хлопьев, какая-то дурында с «конским хвостом» на голове заглатывала целиком шоколадку и стонала: «Оооооо!» От газового чада из камина у меня наступило помрачение, мне явственно почудилось, что мой слуга-японец трясет меня за плечо и говорит: «Господин, проснитесь!» Я сбросил с себя новоанглийское наваждение и как раз, когда дебильно-радостный голос дикторши объявил: «А теперь вы увидите его живьем! Итак, вместе с Харви Гринфилдом у нас...» – выключил телевизор. Голос иссяк, а изображение ведущей перевернулось, точно игральная карта. Отец качнулся, закашлялся всем телом (было такое впечатление, что этот кашель расплющивает его, будто паровой молот) и вышел в прихожую за шляпой и плащом. Шляпа у него была старомодная, с плоской тульей и загнутыми кверху полями, а карманы плаща пузырились, набитые полупустыми сигаретными пачками, спичечными коробками и грязными носовыми платками. Он и в самом деле нуждался в присмотре. Я вышел в столовую за мундштуком, к которому недавно приохотился, и вот отец вернулся в переднюю, уже одетый, чтобы посмотреть, готов ли я. Окурок сигареты догорал у самых его губ – длинный хвост пепла вот-вот опадет на ковер. Таинственное явление, которое я так и не сподобился постичь: он мог выйти из комнаты без сигареты, а вернуться секунду спустя с крохотным бычком, припе-

кающим губы. Это было похоже на топорный монтаж кадров в кинофильме.

Вероятно, у него просто было пагубное пристрастие к бычкам, только ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как он их прикуривает. Я не знаю. Мой отец был частью Англии, а Англия, наверное, самая загадочная страна на свете. Мы вышли молча, оставив пепел на ковре, горячую желтую пещеру в камине, барометр, стукнувшийся о стену от порыва влажного деревенского воздуха. Отец с особой тщательностью запер дверь, а потом спрятал ключ под коврик, кряхтя и отдуваясь по-стариковски. Мы свернули на Клаттербак-авеню, мимо почтового ящика – вещественного напоминания о большом мире, навстречу морозящему дождю, слегка запыхавшись, потому что улица шла немного в гору (странно было вспоминать, что вообще-то Клаттербак-авеню на самом деле была холмом), а потом резко забрали вправо на булыжную тропку, ведущую к старой деревне. Старая деревня прицепилась к нам, как проститутка, едва мы завернули за угол. А потом показался и «Черный лебедь», он же «Гадкий селезень», он же «Флаверов козырь».

Традиционные «семь потов» и неуют воскресного вечера в пабе в одно мгновение крепко саданули нам в глаза и глотки. Симпатичный развозчик молока, работающий здесь официантом по выходным, в галстук-бабочке и короткой зеленой куртке, исполненный рвения и достоинства, как раз доставлял поднос с грушевым сидром к столику у дверей. Отец

тяжко прокашлялся, будто прочищая горло, и жестокая буря пронеслась в стаканах газированного сока. Но встретили отца довольно сердечно.

– Добрый вечер, Берт.

– Вечер добрый, мистер Денхэм.

– Как там житуха-то, старина?

– Телик сегодня что-то малость барахлит, да, Берт?

Гольфистов, сидящих за столиком у дверей, постоянно освежали порывы холодного ветра, когда приходили новые посетители вроде нас с отцом. Лучшие столики – по центру и теплые столы у огня занимались еще с самого открытия. Отцовские кореша потеснились, и он уселся на табуреточку, извлеченную из укрытия под столом, а я втиснулся между двумя незнакомцами на длинной скамье, подпирающей одну стену. Налетел рьяный в своей службе официант, и я заказал на всех. Так правильно, так заведено. Я был возвратившимся на родину набобом. Гольфист-коммивояжер по медтехнике сказал:

– Если ты не против, старина, я бы тяпнул рюмашку скотча. Хватит мне на сегодня пива. Уже, наверное, с баррель выдул.

– Двойной?

– Пожалуй, старина.

Мысленно я ухмыльнулся этакому провинциальному шику «рюмашек» крепкого. В тех краях, где я ныне обретался, пиво быстро превратилось в напиток для богачей – в Каль-

кутте мне доводилось платить семнадцать ноль шесть за бутылку. Я старательно потягивал свою полупинту горького, пытаюсь внушить себе, что оно мне действительно нравится, это теплое пиво старой Англии. Эмигрантские грезы о пенной кружке – это традиция. («И вот что я первым чертовым делом сделаю, как только причалю: выпью чертову большую пинту бочкового «Басса». Господи, мне бы сейчас хоть глоток!») Я знал, что скоро, когда отпуску моему будет месяц от силы, я вернусь к легкому светлему и «рюмашкам». Наверное, это связано то ли с малокровием, то ли с нарушением пищеварения. Я чувствовал себя виноватым в пренебрежении к британскому пиву. Я очнулся, обнаружив, что отец зовет меня с другого конца стола. Слов было не разобрать: стук тарелок, звон стаканов, кашель, женское щебетание преграждали им путь.

– Что, папа?

– Мистер Уинтер возле тебя. Он в типографском деле.

– О!

«Мистер Уинтер – печатник, принтер», – подумал я, начав куражиться над Уинтером еще до того, как разглядел его как следует. Чуть за тридцать, моложавый, скулы пылают пятнами румянца от трактирной жары. Подбородок округл и чуть мягковат, маленький рот так же бесформен, как и плохо скроенный костюм. Глаза карие, крапчатые, цепкие – славные глаза, подумал я, – а крылья носа вечно настороже (так женщина раздувает ноздри, когда, вернувшись в комна-

ту, обнаруживает в ней запах, которого не было перед ее уходом). Прямые волосы слишком тщательно расчесаны, взбиты, этикие соломенные волосы – настоящее потрясение после изобилующего вороной мастью Востока.

– Рад знакомству.

– Взаимно.

– Выпьете?

– О, благодарю, я уже порядочно выпил.

На дне его кружки осталось еще около трех дюймов пива: парень был точно не из пьющих. Об этом же явно свидетельствовал его голос – чистый, ни резонанса, ни мокротной хрипотцы или смешков от души, из самого нутра. Мне было любопытно, что его тревожит: он рыскал взглядом от двери к бару, куда мужчины возвращались – отлив – поодиночке, а женщины – после более сложного ритуала – хихикающими группками.

– Мой отец – наборщик, – сказал я.

– Да-да, я знаю, мы часто об этом беседуем.

Его взгляд не со мной, он продолжает смотреть в сторону бара, как будто фигура или фигуры вот-вот возникнут из погребка тапера или материализуются в эктоплазме из ноздрей Теда Ардена. А затем возвращается к двери, как к наименее вероятному источнику чьего-то явления. А Тед – я заметил – был занят пивными помпами, стаканами, бутылками под ними, между делом весело позвякивая то тем, то этим, словно исполняющий некую современную пьесу перкуссионист,

который со знанием дела снует между ксилофоном и гlockеншпилем, треугольником и эолофоном, большим барабаном и тамбурином. Однако Тед успевал при этом очаровательно принимать дары как от счастливчиков, мужественно попиравших одной ногой рейку стойки, так и от менее удачливых – тех, кто теснился позади, кому не досталось ни прилавка, ни стола и требовалась третья рука, если хотелось закурить, одновременно поглощая горячительное. В краткий промежуток времени между моим приходом и возгласом: «По последней!» – я заметил, как Теду вручили потрошеную дичь, чатни домашнего приготовления, пук хризантем и книжку, внешне напоминавшую религиозный трактат. При виде последней Тед взревел как ненормальный: «Вот это вещь, а? Потрясно, да? Веселенькая херовина!» Вероника была в общем баре, слишком далеко, чтобы сделать ему внушение. (Позднее выяснилось, что буклет назывался «Что тори сделали для рабочих», и все его страницы были девственно-чисты. Тед смеялся бы точно так же громко, но не громче, будь это буклет о лейбористах. Он был очень похож на Шекспира).

Уинтер-принтер рассеянно принял мое угощение, взгляд его все так же блуждал. Будучи почти иноземцем, я воспользовался правом задавать вопросы там, где англичанину надлежало помалкивать.

– Что-то случилось? – спросил я. – Вы кого-то ищете?

– Что, простите? – отозвался он, как человек воспитан-

ный. – О, – румянцы на его щеках разгорелись еще ярче, – собственно, да. Свою жену, собственно, – тут он стал по-настоящему пунцовым.

Не знаю, откуда у меня возникло стойкое впечатление, что его настоящая фамилия была не Уинтер, а Уинтерботтом.<sup>8</sup> Злоязыкие парни или мальчишки дразнили его Стылозадым – вот он и отбросил этот «зад». Это было просто мое подозрение.

– Извините, – сказал я, – мне, наверное, не следовало спрашивать.

– Да нет, – ответил он, – все нормально. Правда.

Он утопил свое смущение в поставленной мною пинте. Фуга воскресного вечера входила в стретту<sup>9</sup>. Женщины болтали все громче, смеялись все бесстыднее, мужчины толковали о войне и об «этих черномазых» – египтянах, индийцах, бирманцах, все насущнее становилась необходимость заказать еще по одной, причем я не заметил, чтобы Тед как-то по-особому привечал своих одаривателей. А потом Уинтер-принтер произнес:

– О, она здесь! – И зарделся снова.

Он правильно сделал, сосредоточившись не на входных дверях, а на баре. Ибо – киномонтаж куда лучше нудной

---

<sup>8</sup> В буквальном переводе с английского первый вариант фамилии героя (Winter) – «зима», второй (Winterbottom) – «зимний зад».

<sup>9</sup> Стретта (итальянское *stretta*, букв. «сжатие») – род имитации в полифонии, в которой имитирующий голос вступает до окончания темы в предыдущем голосе. Таким образом проведения темы как будто «сжимаются».

последовательности событий – просто из ниоткуда внезапно возникли четверо, и, в усугубление и без того загадочной обстановки вокруг, у каждого из них в руке уже был бокал. Компашка донельзя веселая. Уинтер сверлил взглядом одну из женщин, явно вынуждая посмотреть в его сторону, и, добившись своего, помахал ей и смущенно улыбнулся, а та с куда большей уверенностью в себе шуточно подняла бокал с чем-то, похожим на классический летний фруктовый крюшон «Пиммс № 1», будто за его здоровье. Это была аппетитная, призывно улыбающаяся во весь рот женщина лет тридцати, скандинавская блондинка, но отнюдь не ледышка, хотя лед и подразумевался – прирученный, одомашненный ледок зимних спортивных забав: румянец от катания на коньках, от жара поленьев, от горячего грога, красивые крупные бедра под юбкой, кружащейся на катке в вихре вальса, бедра, согревающие твою руку, словно муфта. Мутоновая шубка сброшена: зеленый костюм под нею подчеркивал все ее пышущие здоровьем прелести, в которых не было недостатка. Я плохо знаю женщин своей собственной расы – для меня они сушая экзотика, загадка, зато восточные женщины просты и понятны. Оглядываясь назад, я думаю, что никогда не был «близок» (в том смысле, в каком понимает близость газета «Новости со всего мира») ни с одной англо-саксонской женщиной (кельтские женщины – другое дело, у них гораздо больше общего с восточными). Главным образом мой физический контакт с англичанками сводится к одному и тому



же воспоминанию: чья-то жена у меня на коленях в чьей-то машине на обратном пути из сельского паба под созвездием Ориона или под рождественской луной, морозные узоры на безосколочном стекле – кусок того пышного пудинга, который я перевариваю по возвращении. Эта женщина, миссис Уинтер, разумеется, присоединилась к прочим мимолетным и давним обитательницам моего воображения – я в мгновение ока настолько явственно ощутил тактильный образ ее тела, что понял: именно «зимняя» фамилия ее мужа (подсознательно отложившееся впечатление) вызвала во мне приятные «ледяные» ассоциации. Мне почему-то страсть как захотелось узнать ее девичью фамилию, а затем, когда я понял, что ничего не может быть легче, страстное желание улетучилось.

Мужа она поприветствовала. Теперь она вновь обратилась к своему кавалеру. Это был кудрявый шатен, этакий собирательный образ игрока-вояки; я машинально отправил его на Восток, нарядив в открытую рубашку и шорты, носимые в тех широтах круглый год: сокрытое богатство его здоровых волосатых ног, пропадающее даром в холодной, одетой Англии, украсило бы собой любой барный стул в тропиках. «Чем он занимается?» – подумал я и решил, что он, наверное, конторский служащий, чья жизнь начинается только после пяти вечера. Должно быть, он, подумал я, вылезает из автобуса, как из постели, берется за гантели или эспандер, наспех глотает ланч по субботам, впрочем, без малейшего на-

мека на несварение в драке за мяч во время матча по регби. Однако мужики, которые регулярно тренируются, как правило, не очень хороши в постели, а этот, несомненно, в постели был хорош.

Я повернулся к мистеру Уинтеру-принтеру и, не додумавшись сначала подумать, спросил:

– Чем он занимается?

– Э-э? – Лицо его стало почти черным, как на плохом фото в газете, костяшки пальцев, сжимавших кружку, заострились и побледнели. – Вы о чем?

– Простите. Просто мне показалось, я где-то видел его раньше. То ли на футболе, то ли еще где...

– Кого?

– Да вон того мужчину.

– Он – электрик, – ответил тот чуть ли не сконфуженно, будто поясняя мужское превосходство, силу (вроде «Он – поэт» или «Он – оперный тенор») мужской привлекательности представителей определенных профессий.

– Это Джек Браунлоу. – Такая краска стыда куда более пристала бы блудной дочери, кающейся во грехах.

– А...

Будучи человеком благоразумным, я прекратил расспросы. Зато Уинтера прорвало, его рот кривился, как у мальчишки, извергающего излишки выпитого пива на бетонные плиты заднего двора общего бара. Неужели мой здоровый бронзовый загар и корпулентная фигура вдохновляют на от-

кровенность или все дело в моем безумном восточном взгляде?

– Видите ли, это моя жена, а другая женщина – жена Джека Браунлоу. – Эта другая женщина была довольно неприятной компактной брюнеточкой, о таких говорят «пикантная», они так и пышут жаром – что твой конвектор. – А рядом с ними Чарли Уиттиер, он, знаете ли, холостяк. Беда в том, знаете ли, что я не умею играть в теннис, я не люблю теннис, – страстно выдохнул он, – а они играют в теннис.

– Но не сейчас же, – ляпнул я. – Нет, правда, теперь же не сезон, Уинтер, – пояснил я, а затем невольно (тут клише неизбежно) покраснел до корней волос и повернулся, чтобы снова взглянуть на Чарли Уиттиера.

С этим Уинтером как по минному полю ходишь, право слово. Как я заметил, Чарли Уиттиер был вогнут, будто некая тяжесть тянула вниз его тело от самого подбородка. Пуловер засосала впадина грудной клетки, а все нутро как будто вычерпали, оставив сплюснутую оболочку. Тело его под костюмом цвета ржаного хлеба стремилось к двухмерности. Нос и выпуклый лоб слишком поздно это поняли и тщетно протестовали. Я, кажется, видел его на теннисном корте – одушевленные портки с несоразмерным попугайским клювом, стремительные, катящиеся кубарем.

– Не сейчас, нет, – согласился Уинтер. – Но я не буду, понимаете, не буду играть с ними ни в какие их игры. Этот Чарли Уиттиер, – прибавил он, большим глотком подливая

горючего в поднимающееся презрение, – большой любитель умасливать. Но я не стану. Не игра это, что бы они там ни говорили.

Да, я могу признать некую эротическую небесполезность Чарли Уиттиера, этого тела, изогнутого, как огромная пригоршня. Но зачем выбирать его, если вот он, другой – Джек Браунлоу – ухмыляется и шепчет что-то Уинтеровой жене, а та смеется и закусывает губку. Наверное, Чарли Уиттиер был ходячей самоисчерпавшейся метафизикой этой циничной пригородной любви в духе безнадежно устаревшего и забытого Ноэля Кауарда?

– А кто такой Чарли Уиттиер? – поинтересовался я.

В этом пабе можно было бы наяву разыгрывать «Счастливую семейку» – здесь собралось много солидных, добрых ремесел, не чета этому вашему туманному «работает где-то в Сити».

– Вся правда в том, – сказал Уинтер, – что он тот, кто он есть на самом деле. «Отмороженный мясник» – так называют его настоящие мясники.

Мне известно, что это значит. Человек, торгующий мясом, но далекий от поэзии скотобойни. Неграмотный продавец книг. Закройщик готового платья. Недомясник, не имеющий ничего общего с тем человеком, который женился в свое время на прародительнице Теда Ардена. А ведь он вполне мог и кожи дубить, и шить перчатки, этот молодой Шекспир, игравший в игру «Заколоть теленка», не так ли? В эту

минуту Тед Арден стал звонить «отбой». Он бомкнул в некое подобие колокола с «Лутины»<sup>10</sup>, возопив с шутливым отчаянием в голосе:

– Ах, голубчики, давайте тут все мне, закругляйтесь, а то из-за вас мне лицензию отымут. Ну-кась все мне допиваем свои стаканчики, ой-ой, что за шум-гам, законы не мной писаны, ну-ка, давайте не бузим, дверь – там, а то полицейские машины караулят за углом, дома, что ль, у вас у всех нету?

Посетители были явно в добром расположении: они, поперхиваясь, опрокидывали свои стаканы и пинты, изо всех сил стараясь угодить Теду, а тот вознаграждал самых скорых допивальщиков обаятельнейшими улыбками и похвалами:

– Дивно, дивно, голубчик ты мой, я бы правую руку отдал бы, чтоб так глотануть!

Затем Тед стал выпроваживать своих посетителей к главному выходу, звонко чмокая в щечки милых женушек, а мужья их при этом блаженно лыбились. Тед Арден не был «отмороженным мясником».

Миссис Уинтер подошла к нашему столу и поздоровалась с моим отцом – к моему вящему удивлению – с почти дочерней теплотой. Отец, порозовевший от жары, пива и кашля,

---

<sup>10</sup> Колокол в страховом зале корпорации «Ллойд», который используется в церемониальных случаях. Ранее использовался для привлечения внимания к важному сообщению: один удар производился для сообщения о гибели судна, два удара – для сообщения о хороших новостях. Колокол был снят с корабля «Лутина», затонувшего в 1799 г. в Северном море с грузом драгоценных металлов, большая часть которого была утрачена.

произнес с одышкой:

– Мой сын, уф-ффф, вернулся из заграницы, уф-ффф.

– Откашляйся как следует, Берт, – сказал один из его друзей-гольфистов и постучал отца по спине.

Дилинькали стаканы, сгребаемые со столов. Эхом донесся звук колокола из общего бара.

– Рада с вами познакомиться, – сказала миссис Уинтер, а потом повернулась к мужу и произнесла, качая головой с дурашливой грустью и нежно улыбаясь: – Ах, Билли, Билли, глупыш, что молчишь?

Уинтер покраснел, губы у него дрожали. Потом его жену обволокла толпа – толпу эту стремительно расцеловал, приласкал и умаслил Тед Арден. Уинтер-принтер сидел молча и смотрел невидящим взглядом на влажное полотенце, выброшенное на сифоны. Затем вышел через заднюю дверь, ни с кем не попрощавшись. Никто, кроме меня, и не заметил этого. Отец сказал мне:

– Роланд обещал меня подбросить до дому. – Он снова зашелся в кашле.

– Хорошо, – ответил я. – Встретимся там.

– Прости, старина, места маловато, – сказал мне гольфист-коммивояжер по медоборудованию, – это же всего-навсего «Форд Префект».

Он горестно посмотрел на меня краем глаза, будто зная, что у меня, где-то далеко, на моем загадочном и прибыльном Востоке, имеется машина куда просторнее, да еще и с води-

телем. Я постарался скроить извиняющуюся мину. Когда я собрался уходить, Тед приобнял меня и шепнул:

– Не нужно так рано, если не хочется. Давайте еще тяпнем по половиночке перед сном со мной и миссис. Погоди только, пусть вся шелупонь разойдется.

Инстинктивно я почувствовал, что мне оказывается высочайшее благоволение. Я склонил голову, словно на воскресной службе.

## Глава 2

Не бывает в наше время бескорыстных подарков, за все приходится платить. И время, которое ничего не стоит, оказывается дороже всего. И с чего, в самом деле, я должен был счесть привилегией приглашение остаться после закрытия, чтобы угостить «по половиночке» Теда и его миссис? Я ведь мог себе позволить уставить отцовский домишко всем этим вульгарным пойлом из Тедова паба, устроить маленький бар в гостиной, пить себе в холе и неге, ни на кого не оглядываясь... Но в Англии принято считать, что пьянствовать дома – ненастоящее удовольствие. Мы молимся в церкви, а надираемся в пабе. Исполненные глубинного иерархического почтения, мы нуждаемся в хозяине в обоих «святителях», дабы тот верховодил нами. В католических церквях и континентальных барах хозяева все время на своих местах. Но англиканская церковь исторгла Истинное Присутствие, а лицензионное право наделило трактирщика ужасающим священным могуществом. Тед предлагал мне эту вожаделенную благодать, отсрочку смерти – которая и есть время закрытия, – жалуя мне с барского плеча продолжение жизни. Однако мне на самом деле не шибко нравилось расплачиваться за это сметанием окурков на совок (тяжко отдуваясь при каждом наклоне) или оттиранием губной помады со стаканов из-под грушевого сидра. Это работа для мальчишки-по-



денщика. Никто, впрочем, не просил меня это делать, просто я решил, что от меня ждут некой добровольной помощи. Седрик, субботне-воскресный официант, снял зеленую куртку, являя щегольские подтяжки, и насвистывал, вытанцовывая с метлой. Был тут еще дебильного вида помощник, отмывавший стаканы с жуткой скоростью, сверкая при этом своими кретинскими очочками. А еще обрюзгший детина с расквашенным лицом боксера, одетый в тельник осиной расцветки. Он ворчал себе под нос, как снулый пес, отдраивая прилавок в общем баре. Вероника опустошила кассу и пересчитывала выручку, а Тед колдовал над измерительными стержнями в погребе. Прошло немало времени, прежде чем я дождался выпивки. Я пару раз намекнул: «Уж теперь-то, наверное, миссис Арден, вы и джентльмены не отказались бы от стаканчика чего-нибудь» (я был еще не настолько на коротке с Вероникой, чтобы называть ее по имени). Но Вероника только бездумно кивала, не отрываясь от подсчетов, боксер ворчал, а дебил демонстрировал мне открытый рот и посверкивал очками. У меня возникло ужасное подозрение: а вдруг никто из них не любит выпивку, вдруг им нравится только торговать ею? Но вот наконец хозяин взошел из погреба, и лучи его истинного присутствия озарили и согрели каждый уголок бара.

Мы выпили за стойкой в общем баре, буквально «по кружечке» водянистого мягкого пива, которое Тед сам откачал и горделиво поднял, демонстрируя на просвет.

– Дивное! – сказал он. – О трактирщиках всегда судят по ихнему мягкому, – прибавил он назидательно. – Именно любители мягкого приносят денежку. Это их надо холить и лелеять.

Пойло потягивали с почтением, но, думается мне, без особого удовольствия. Затем я спросил, могу ли я иметь честь угостить присутствующих. Вероника сказала, что выпьет порт-энд-бренди, дебилоид попросил темного пива, боксер – ром-энд-лайм, Седрик – виски «Мак»<sup>11</sup>. Я был подобен джинну, вылетевшему из восточной бутылки, дабы с готовностью исполнить самые сокровенные, фантастические желания. Я взглянул на Теда: нос у него дергался, как у кролика. Он сказал:

– Тут на полке есть одна бутылка, вон, на верхотуре, так я всегда хотел знать, что в ней.

– А на бутылке не написано?

– Смешные каракульки там, голубчик мой. Никто так и не смог прочесть. Мы тут показывали ее индусу, из тех, что ковры продавали, так и он не сподобился. Правда, – прибавил Тед, – я всегда знал, что индус он невсамделишный.

– Так почему бы вам не снять бутылку с полки? – сказал я.

– Ага! – сказал Тед. – Вы ж прибыли из дальних стран, так что должны раскумекать, чего там понаписано. Эй, Селвин, – сказал он. Селвином звали дебилоида, – не так-то уж глупо,

---

<sup>11</sup> Порт-энд-бренди – коктейль на основе виски «Паспорт скотч» и бренди, виски «Мак» – смесь виски и имбирного вина в равных частях.

правда, Селвин?

– Де дада, я глупый с-под пива, – быстро и неразборчиво прогундосил Селвин, – голос у него был как спущенная басовая струна.

– Слазь-ка на верхнюю полку, голубчик, – попросил его Тед, – сыми с нее ту бутыляку со смешными каракулями.

Он повернулся ко мне:

– Купил их на аукционе, когда «Корона» погорела. Кучу старых бутылок. Э-э, голубчик ты мой, – сказал он Селвину, – на стулик стань.

Но Селвин оседлал прилавок, протопал по нему большими своими черными башмаками и уже вроде как карабкался по полкам. Забравшись под самый потолок, он ухватил бутылку, сверкнув стеклами очков, и спросил:

– Ода?

– Она-она, голубчик мой. Поостерегись там, когда слазить будешь.

– Лови! – Бутылка со свистом рассекла воздух и приземлилась прямо Теду в руки.

Это было какое-то бесцветное пойло с кириллицей на этикетке.

– Буду слазидь вдис, – прогундел Селвин, будто часы бомкнули на башне, и слез он довольно ловко, случайные бутылки только чуть позвякивали о черные башмаки.

– Это, – сказал я, – что-то вроде водки. Ну вы знаете, русская выпивка.

Боксер заворчал:

– Я считаю, русские такие же отличные парни, как и мы. Ведь что такое коммунионизм? Это когда каждый старается изо всех сил на благо остальных, я так это понимаю. Разве это неправильно? – Он вызывающе посмотрел на Седрика.

– Я вас умоляю, – произнесла Вероника. Голос у нее был подобен лопнувшей ми-струне, – не надо политики в столь поздний час, будьте так любезны.

– В каком-то смысле, – ответил Седрик, – все люди одинаковые. Нет высших и низших. И никто не обслуживает, так сказать. Так вот, я не считаю, что это правильно.

– Пожалуйста, – сказала Вероника более резко. – Только не в моем доме, если не возражаете.

– Думал дебось, ди достаду? – Селвин больно ткнул меня локтем в бок, зияя открытым ртом и сверкая очками.

– Нет, я знал, что достанешь! – улыбнулся я, стараясь его ублажить. – Слушайте, – сказал я Теду, – а давайте откупорим ее и выпьем с томатным соком и каплей вустерского?

– Я о таковском не слыхал, голубчик.

– «Кровавая Мэри», – пояснил я, – водка в красном. Как русские пьют. Так и употре... – Тут Селвин еще сильнее ткнул меня локтем.

– А одкудова ты здал? – спросил он.

– ... блять, – закончил я.

– Одкудова ты здал, что я достаду, когда я ди делал того дикогда. – Он триумфально распахнул рот в сторону мрач-

ного боксера. – Ты бы ди достал, Сесил, – сказал он.

Это было уже чересчур: Сесил, Селвин и Седрик. Дело заходило слишком далеко.

– Сквернословие гораздо хуже политики, миссис Арден. Я-то думал, что уж чего-чего, а сквернословия вы не потеряете, особенно от чужака. – Он смерил меня строгим взглядом.

– Это ж паренек Берта Денхэма, – сказал Тед, – только из заграницы. Ты видел его в курилке раньше.

Он очистил пробку мастерским поворотом кисти, оседлал бутылку, будто лошадь, и напрягся, чтобы откупорить. Сдавленный хрип вырвался из его горла.

– Он выругался, я слышал, – настаивал Седрик. – После того, как сказал про какую-то разэтакую Мэри.

– Я сказал «употреблять», вы ослышались. А «Кровавая Мэри» – была такая королева Англии, – объяснил я. – Так ее прозвали за то, что живьем сжигала протестантов.

– Все они одним миром мазаны, – сказал осино-полосатый Сесил. – Что католики, что англикане. Сам-то я воспитан Примитивным методистом<sup>12</sup>.

– Давайте не будем о религии, прошу вас, – сказала Вероника, – у меня голова раскалывается.

Пробка вылетела.

– Неужели, голубушка? – спросил Тед трагически-забот-

---

<sup>12</sup> Примитивные методисты – неепископальная протестантская церковь, возникшая в Англии в 1812 году.

ливо. – Что ж ты молчала. Прими пару таблеточек аспиричику, выпей чайку, и в постельку.

Он поставил бутылку на прилавок. Из горлышка вспорхнули струйки дымка, пахнувшие анисом, тмином, денатуратом, ацетиленом. У меня помутилось в голове. Селвина передернуло. Седрик сказал:

– А знатно шибает!

Тед заключил Веронику в нежнейшие объятия, исполненные беспомощного сострадания.

– Бедная ты моя старушечка, – сказал он, прижавшись губами к ее туго обтянутому кожей лбу.

Вероникины глаза, распахнутые голубые очи юного поэта, заволокло дымкой.

– Ничего, болит не так уж сильно, правда, – сказала она, улыбаясь с истинно женской вымученной нежностью. – Но я все-таки лягу.

– Аспирину, дружочек?

– Нет, все равно не поможет. Все та же старая беда. – Присутствующие сочувственно закивали, будто и в самом деле знали, о чем речь. – Не засиживайся слишком, Эдвард.

– Нет-нет, голубушка. Тяпнем по маленькой – и всё.

Вероника пожелала всем доброй ночи и удалилась, тонкая, словно шпага тореадора. Все вздохнули с облегчением.

– А-аа-а, – спохватился Тед, щедро плеснув бесцветного алкоголя в бокалы, – томатный сок!

– Томатный сок, – сказал я. – С солью. И вустерский соус.

Присутствующие наблюдали за действиями Теда с таким напряженным вниманием, будто у них на глазах ставили опасный химический опыт. Тед окрасил водку в красный цвет, приправил, перемешал ее длинной ложечкой и осмотрел стаканы, словно прежде должен был изучить их. А затем сообщил:

– Что ж, выглядит чертовски кроваво, как положено.

– Сколько с меня? – спросил я. Мне всегда приходится заново обучаться английскому обычаю платить за напитки до того, как они будут выпиты. – И кстати, за порт-энд-бренди для миссис Арден, который она так и не выпила.

– Завтрачком выпьет, голубчик. Ну-ка, поглядим: за это – пять бобов, за то – три за каждый, трижды пять – пятнадцать, пятнадцать и пять – двадцать. Точнехонько фунт, голубчик мой, и спасибочки вам, сэр.

Он принял от меня деньги, а затем ухватил за ножку бокал с «Кровавой Мэри». Мы все решительно ухватились за свои бокалы – все, кроме Седрика. Тот держал ножку бокала двумя пальцами, словно стебель экзотического цветка. Я отхлебнул половину и сразу почувствовал, что взлетаю. Череп мой раздулся под напором наполнившего его гелия. Комната осторожно закружилась, накренилась, колыхнулась, а потом встала на прежнее место. Что бы там ни было, в этой бутылке, это была не водка. Седрик поперхнулся и забрызгал нас.

– Держи ее при себе, Седрик, – сказал Тед.

– Ох, – задохнулся Седрик, – ох и крепкая.

Селвин с томатными «усами» произнес:

– А бедя родили бежду дочью и ддёб. Бедя родили со штукой вкруголовы.

– Ладненько, – ответил Тед, – уже слыхали об том.

Он безмятежно допил свой коктейль и заметил:

– Томатный сок чуток горчит. Перестоял малость в банке.

Селвин очень сильно пхнул меня локтем.

– Я родился, и у бедя вкруголовы была штуковида дадетая.

– Ага, – сказал я, – сорочка.

Я осушил бокал. В самом деле, это было весьма недурно, что бы это ни было.

– Оди говорят бде – образида, – громко сказал Селвин. – А у бедя вкруголовы была штуковида, и боя бать продала ее за шесть с половидой педсов.

Он выпил еще без дальнейших комментариев, а потом прибавил:

– Я богу видеть, что другиине ди бооогут! Я видел бужика без оловы – од прошел сквозь стеду среди бела ддя на Паркидсод-стрит, – он обратился к Сесилу: – Ага, Сесил? Это быю деделю до того, как Картер получил докдан.

Сесил прихлебывал «Кровавую Мэри» мелкими глоточками – так мучимый жаждой человек прихлебывает горячий чай. У Седрика видок был не из лучших.

– Мне бы стакан воды, – сказал он, – если можно. Чудноё питье, как бы вы его там ни называли.



– А еще, – не унимался Селвин, – я богу видеть штуки у людей вкруголовы. Зеленая – у Сеси́ла, синяя – у Теда, у Седрика – дикакой дет, и типа гряздо-розовая – у тебя, бистер.

– Наверное, где-то тут есть прачечная, в которой отстирывают ауры, – сказал я, – надо бы мне и мою туда отправить.

– Попробуем-ка ее саму по себе, – сказал Тед, – томатный сочок малость подгулял.

– Аура божет спортиться, – снова пихнулся Селвин, – типа штуковида вкруголовы.

Седрик глотнул было воды, но тут же сплюнул.

– Чем бы оно ни было, это пойло воды не любит. Пойду-ка я лучше во двор, – сказал Седрик, – я ел яичницу сегодня в полдник, и миссис сказала, что ей не понравились яйца, когда она их разбивала, и... О черт. – Он с ужасом поглядел на мой левый манжет, будто увидел прямо на нем ту злосчастную яичницу, и пулей вылетел за дверь.

Тед ослабил, продемонстрировав множество плохих зубов.

– Это только нам с вами по плечу, голубчик, – сказал он. – Остальные еще не готовы. Будемте!

Бокал его опустел, мой тоже. Напиток в самом деле был хорош. Я его распробовал.

– Это, – сказал Тед, – будет стоить шесть бобов, голубчик. Я нарыл в кармане кучку серебра.

– А этим джентльменам?

– Я богу еще выпить, – сказал Селвин и подтолкнул свой заляпанный красным бокал.

– Девять бобчиков.

Последняя капля укатилась в глотку Сесила, словно в водосточную трубу. Он медленно опустил стакан со словами:

– Этого больше не надо. Чего мне действительно хочется, так это еще рома с лаймом.

– Возьми себе сам, – сказал Тед. – Стало быть, всего вместе одиннадцать и шесть пенсов, голубчик.

Сесил смешал себе выпивку и подошел ко мне с серьезной миной.

– А у вас там, где вы жили, – спросил он, – были черненькие?

– Там были и черные, и коричневые, и желтые, – ответил я. – Зависит от места, где живешь, вообще-то.

– У старика Джеки Кокса, – влез Селвин, – у дего вкруго-ловы было желтое. Желтое-прежелтое. Желтеддое.

– Нет-нет, – сказал Сесил, – я имел в виду, черные женщины у тебя были?

– Ну да, однажды, – признался я. – В Лаосе дело было.

– И как оно? – спросил Сесил.

– Н-ну, – начал я, и все присутствующие навалились на стойку, затаив дыхание, но в эту минуту появился Седрик, чуть посвежевший, но озадаченный.

– Высвистало все подчистую, – сказал он, – и яйца, и все остальное. Слушайте, там этот парень в нужнике сидит –

прямо в штанах и плаще. Дверь нараспашку. И выходить не хочет.

– Что за парень?

– Да тот, что работает у Роудона. Уинтерботтом.

– Уинтер-принтер-спринтер-полпинтер, – внезапно сказал я и сам обалдел.

Напиточек куролесил вовсю.

– Виноват, – сказал я.

– Бедолага, – сказал Тед. – Вот же несчастный чертяка. Она умотала с ключами, и он не может домой попасть. Надо же – в свой собственный дом! – прибавил он. – Стыдобища несусветная, вот что это такое.

Теда тоже разобрало от выпитого, карие глаза его наполнились слезами.

– Тащи его сюда, – сказал Тед. – Рази ж можно оставлять его на всю ночь в нужнике, бедолажечку такого.

Он плеснул из бутылки себе и мне.

– Шесть бобов, – сказал он бесстрастно. И прибавил: – Да что ж это делается в наших краях-то? Что ж так часто? Женами меняются, мужьями меняются. Как ни крути, неправильно это. Ты бы так сделал? – спросил он Селвина. – А ты сделал бы, Сесил? А вы бы так сделали? – спросил он меня. – Конечно же, нет, не сделали бы. А вот ты – делал! – сказал он Седрику.

Седрик уже не казался таким бледным, как прежде.

– Всего-то один раз, – сказал он. – После вечеринки. Нас

было три пары, и все так перемешалось. Я и не особо хотел на самом-то деле.

– Не хотел, но делал, – сказал Тед. – Не представляю, чтобы такое могло случиться со мной и моей миссис. Заплывшие мозги и руки-в-брюки, вот что это такое. Когда заняться нечем. Когда детишек нет в доме. Будемте, голубчик, – сказал он мне. – Это потянет шесть бобов.

На этот раз я не был уверен, что должен платить. Если они собираются водить меня как обезьянку на веревочке только потому, что я вернулся с Востока, то не на того попали. Я попытался донести до них свою мысль и сказал:

– Обезьяны всех видов, размеров и пород водятся в джунглях Борнео. – Я произнес это удивительно утонченным, даже рафинированным тоном, что на меня совсем не похоже.

Тед сказал:

– Тащите его сюда, бедолагу. Мистер Денхэм шикаует. Пусть и он приобщится.

И, вперив взор в цветистый плакат с девушкой в нижнем белье, рекламирующий сидр, он продекламировал странным механическим голосом прорицателя:

– О, римляне, сограждане, друзья – вот в чем вопрос. О, Англия, люблю ее, но странною любовью! Он был богат, хоть составлял доход всего каких-то сорок фунтов в год<sup>13</sup>.

С жаром он воскликнул:

– Что вам принести, голубчик? Оружие или стариковские

---

<sup>13</sup> Сборная солянка неточных цитат из Шекспира, Байрона, Голдсмита и пр.

книги? Тыщи у него были старинных этих пистолей, голубчик. Лучшая коллекция пистолетов во всех окрестных графствах. Так что будете глядеть, а? – Но тут ввели Уинтера-принтера, съжившегося и жалкого, до синевы продрогшего в своем куцем плащике на уличном толчке. – Входи, входи, голубчик, – громко сказал Тед. – Входи, обогрейся. Мистер Денхэм как раз шикает. – Тут он снова принялся щедро разливать из диковинной бутылки.

Ну и черт с ними. Я швырнул на прилавок горсть серебра, монеты покатались, лязгая, будто звенья разорванной цепи. Тут вступил Селвин:

– Я видел старику Билли Фрибада, того, которого была лавка, которая теперь у Пибоди. Так ебу борду боталкой раздавило. – Электрические стеклышки слепили в упор. – В серых сапогах, од в дих десять лет по улице ходил.

– Ладно, Селвин, – сказал Сесил, дыша ромом, – больше ни слова об этом.

– А я ево видел, – сказал Селвин и пхнул меня, уже не стесняясь. – Беда родили бежду дочью и ддём!

Уинтер-принтер подавился, хлебнув свою порцию пойла, проникшего прямо из-за железного занавеса.

– Крепковато для него, – самодовольно изрек Седрик.

Я выдул свое, не поперхнувшись, но комната качнулась у меня перед глазами, словно боксерская груша. А когда она вернулась на место, я увидел аппетитные виноградины слов, целыми гроздьями свисающие у меня над головой. Я сорвал

одну – и она превратилась в текст.

– Прелюбодейство, – неужто я вознамерился прочесть проповедь? А, гори оно все огнем, я их тут всех пою – так или нет? Значит, я призван возглавить эту паству – так или нет? – В общем и целом, – продолжил я, – простительно. Но Уинтер – печатник. Как и мой отец, упокой господи его душу, – похоже, я решил, что для красного словца моему отцу лучше упокоиться. – Сердце его разбито, – сказал я, – дни свои он окончил в нищете. А из-за чего? Из-за прямоты и неподкупности. Он не смог принять современный мир – все эти жалкие извращения и глумление над подлинными ценностями. Печатники не такие, как все. Они рождены, чтобы нести мистерию этого мира своему поколению. Разве типографии – это не храмы? Боксеров, трактирщиков и молочников можно купить и продать, а их ложа могут быть осквернены клеймом зверя. А еще, – тут я обратился к Селвину, – у тебя какая профессия?

– Побощник путевого обходчика, – мгновенно ответил он, – был раньше, да старой железке. Терь я главдый чаёвдик и подбетальщик в «Дортод и Репфорт». И деплохая работка ваще, учти, тут божно и да сторону пойти. Типа мыльдые шарики толкать ученикаб. Или типа карандаши от фирбы. Или туалетную бубагу от фирбы – даилучшего качества и все такое, три дюжиды в деделю как биленькие, – перечислял он, загибая пальцы.

Я возвысил голос:

– У печатника есть долг перед обществом. Стало быть, у печатниковой жены есть долг перед печатником. Логично, не так ли? Вот именно.

Уинтер сидел, открыв рот чуть ли не шире, чем дебилоид Селвин. Тед полулежал на стойке: не слыша, он заворожено следил за моими шевелящимися губами и по-кроличьи подергивал носом. Сесил мощными струями испускал ромовый выхлоп через ноздри, пытаясь перевести дух.

– Так, – сказал я, – мы искореним прелюбодеяние среди печатников. Еще по одной на посошок. Всем по последней. Прикончим бутылку. – Послышался стук туфли этажом выше.

– Сей же час, голубушка, – отозвался Тед, – прикончиваем.

Тед налил всем, кроме Седрика. Подняв бокал, он твердо сказал, обращаясь к Уинтеру:

– Не терпи это. Ты не должен сносить ее сумасбродства или его. Я видал, как мужиков и получше него разъясняли.

Уинтер заплакал. Похоже, он плакал по-настоящему. Я сказал:

– Пойдем со мной. Можешь спать на отцовской кровати. Он бы не возражал. Он тоже был печатником, упокой господи его душу.

Совершенное мной отцеубийство было воспринято как должное. Когда мы допили, Седрик сказал:

– Тамадой – вот кем бы я хотел быть. Загребает кучу де-

нег. Лучший отель, все расходы. — Он объявил тонким изысканным голосом: — Леди и джентльмены, президент желает выпить вина за здоровье этих ледей. — Туфля сверху застучала снова, на этот раз более настойчиво.

— Вот и славненько, — сказал Тед. — По коням, голубчики. Мне всегда хотелось узнать, что же в этой бутылке.

— Но мы так и не узнали что.

— Ну теперь уж без разницы, голубчик, ведь она пустая. — Он перевернул бутылку, и последние капли тихими слезинками скатились на прилавок.

Тед выпроводил нас через двери общего бара во двор. Издали доносились отзвуки кошачьего концерта. Кораблик полумесяца без руля и без ветрил метался в бурной пучине небес. Седрик сказал:

— Подброшу этих двоих на своей маши-ыыыне. Понимаешь, мы живем на другом конце города.

Этим длинным «ыыыыы» он как будто пытался отобразить размеры самого автомобиля. Я притворился, будто здорово впечатлен тем, что у него имеется машина. Селвин сказал:

— Седрик был сильнее ужрабши, когда герци Эдидборо прибыл к даб. — Спущенная виолончельная до-струна ба-мкнула в сельской ночи.

— Ага. На мэрском банкете. Я стоял прямо за спинкой кресла его высочества.

Селвин уставился на месяц, словно тот внезапно свистнул,



чтобы привлечь его внимание, что, наверное, было к лучшему, учитывая своеобразные таланты Селвина. Он сказал:

– А я богу увидеть таб человек. А еще я видел, кто живет да тоб боке луды. Оди кабута зеледовато-сидий дыб. Во сде оди мде сдились.

С меня было довольно. Я уже предчувствовал, что Седрик вот-вот начнет допытываться у меня о сексуальных предпочтениях негритянок, поэтому подхватил Уинтера под руку и поволок его прочь, бросив Седрика на старом крыльце черного хода, пока тот нашаривал в кармане ключ зажигания.

– Доброй ночи! – проорал я напоследок, но никто не ответил.

Нигде поблизости я не увидел припаркованной машины – не иначе, ее угнала банда грабителей. Уинтер вдруг затараторил:

– Честное слово, в этом нет никакой необходимости, честное слово. Я вполне сам могу о себе позаботиться.

– Ляжешь спать в кровать моего отца, – сказал я. – Не можешь же ты всю ночь слоняться по улице.

– Вы не можете уложить меня в одну кровать со своим отцом. Это неправильно. К тому же я не хочу спать с вашим отцом.

Внезапно я остановился, и до меня дошло, что мой отец все еще жив, но какое-то странное суеверное чувство, словно некий намек на воскрешение Лазаря, охватило меня при этом.

– Да, – ответил я. – Это я упустил. Тогда ты можешь спать в передней. Или я посплю в передней – телик посмотрю или еще чего поделаю, а ты можешь лечь на мою кровать. Или вот что, погоди-ка! А давай лучше добудем твои ключи?

Уинтер хихикнул и сказал:

– В это время телик не показывает уже. Видать, тебя долго не было.

– Ключи! Как насчет твоих ключей? Разбудим эту шлюху и спросим с нее.

– Не называй мою жену шлюхой. – Уинтер возразил мне запальчиво, как и полагается в таких случаях, но не очень убедительно.

– Ладно, она не шлюха. Но прелюбодейка. – Внезапно я вкусил сладость этого слова. – Прелюбодейка – вот она кто. Чертова прелюбодейка. Женщина, совершившая прелюбодеяние. Пошли – застанем ее на месте прелюбодейского преступления. И его застанем. И ты сможешь бросить первый камень.

Мы забрались уже на самую сельскую окраину, повернули за угол и оказались на Клаттербак-авеню. Я снова держал Уинтера под руку, и он сносил эту мою бесцеремонность с кротостью Алисы, сносившей бесцеремонность Герцогини, и так же терпеливо он сносил мои варварские вопли о прелюбодеянии. Я был для него лишь заезжий сумасброд с Востока, и бухой к тому же – временной карман в пригородном потоке, как Тедов паб или как та деревня, пределы которой

мы только что покинули.

На улице не было ни души, кроме нас. Разве что кошка, звякнувшая пустыми молочными бутылками у чьего-то порога, да часы на церковной башне, пробившие четверть чего-то, да собака, завывшая тоскливо.

– Они ведь где-то здесь, так ведь? – спросил я.

– Я так не сказал, – ответил Уинтер с какой-то угрюмой робостью.

– А твой дом где? – спросил я его. – Где-то здесь, да?

– Где-то здесь, да, – вынужденно промямлил он, соглашаясь.

– Так пошли к тебе, – сказал я, – сварить нам по чашечке какао или еще чего. Я умею плести чертиков из кусочков проволоки. – Я оглядел дома, вдоль которых мы шли. – Они все на одно лицо, – сказал я. – Полагаю, на самом деле совершенно без разницы, в который мы зайдем. Я думаю, они и внутри все одинаковые. В каждом летящие глиняные уточки на стенке. И телик.

То, как дрогнула его рука и как почти неощутимо он ускорил шаг, словно ноги его пытались попасть в такт с биением его сердца, безошибочно свидетельствовало, что мы приблизились к тому самому дому – дому, в котором жена Уинтера и муж другой женщины лежали, согревая друг друга прелюбодейскими объятиями. Уютное зимнее продолжение летнего теннисного микста. Я остановился. Он попытался высвободить руку.

– Они тут, да? – спросил я.

– Ничего не делай, – предостерег он, – предупреждаю тебя.

Я крепко держал его под руку, а он дергался, пытаясь вырваться. Я заорал посреди ночной тишины, обуянный жуткой радостью.

– Прелюбодейка! Прелюбодей!

– Ох, да заткнись ты, заткнись! Я вызову полицию!

– Сбросьте сюда ключ, – разорялся я, – чертовы грешники!

– Перестань, перестань! – рыдал Уинтер. – Я звоню в полицию, я позвоню, вот увидишь. – И конечно, он рванулся бежать к телефону-автомату на углу улицы.

Но я клещами зажал его предплечье и орал:

– А ну выходите, вы оба! Веди же себя как мужчина, – призвал я Уинтера.

Мне почудилась какая-то возня, какие-то сонные голоса, вопрошающие, что происходит. Вспыхнул свет, но не в исскомом доме.

– Прелюбодейские твари! – воззвал я. Засветилось еще одно окно, потом еще. – Будь же мужчиной, черт тебя побери, – убеждал я, – сражайся за то, что тебе принадлежит по закону!

Но тут какой-то мужик в пижаме и ботинках на босу ногу заковылял по неровному булыжнику прямо к нам.

– Эй, вы, – сказал он, и я при этом заметил, что во рту

у него ни единого зуба, – проваливайте отсюда! Только вас нам тут не хватало.

– В мире слишком много прелюбодейства! – сказал я. – И я не думаю, чтобы мы были представлены.

– Щас я представлю свой большой палец твоей жопе, – сказал мужик. – Валите отсюда. Людям завтра на работу, не все тут лоботрясы, как вы.

– Прелюбодей, – обличил я его, но уже без прежнего ветхозаветного пыла, я сказал это слово почти обыденно, поскольку мужик уже был совсем близко.

Он неуклюже – шнурки на его ботинках были развязаны – перешагнул крошечную калиточку своего дома. Тут я совершенно потерял ориентацию в пространстве, я уже не мог сказать, где чей дом.

– А что с того, если и так? – ответил мужик. – Это свободная страна, не так ли? А теперь убирайтесь, пока я не вышел из себя.

В эту минуту где-то открылось окно, и женский голос крикнул: «Лови!» – и что-то звякнуло о булыжную мостовую.

– Вот и все, что нам было нужно, – сказал я. – Доброй ночи, сэр, премного благодарны вам за содействие.

– Смердите, как передник барменши, – сказал беззубый мужик в ботинках и пижаме.

Он неуклюже перешагнул свою калиточку и заковылял обратно к своему дому по неровному булыжнику.

Женский голос, голос, звучавший так, как будто его накрутили на бигуди, спросил:

– Что там такое, Чарли?

– Ложись. Какие-то чертовы пьянчуги.

Дверь хлопнула с треском – точь-в-точь пощечина нерадивому производителю плохой фанеры. Я ползал по тротуару в поисках ключа, до того чистому, вымытому дождем, высушенному ветром тротуару, хоть садись на нем обедать. Свет фонаря через дорогу выхватил ключ из темноты – в шаге от калитки.

– Ну вот, – сказал я поникшему Уинтеру, – я восстановил тебя в твоих правах, – и я преподнес ему ключ с пьяной учтивостью.

Он ключа не принял. Даже не взглянул на него.

– Это не мой ключ, – сказал он.

– Ты даже не посмотрел.

– Он не может быть моим, – сказал Уинтер. – Это не его дом. Ты же не слушал меня, да? Ты же лучше знаешь, да? – Подлинный гнев сквозил в его голосе, дьявол выглядывал из-под личины печатника. – Это дом кого-то другого.

– Боже ты мой, – восхитился я. – Тут что, и впрямь на воре шапка погорела?

Я переступил через ближайшую калитку, прокрался по дорожке к двери и сунул ключ под коврик. Кто-нибудь найдет его когда-нибудь и кому-нибудь отдаст. Когда я вернулся к калитке, Уинтера и след простыл. Ему некуда было идти,

но он ушел.

«Вот же гадская страна, где люди входят и выходят через потайные двери. Слишком много здесь чертовых погребов и подземелий», – пьяно подумал я.

А потом, избрав курс на луну, зигзагами направился к дому.

## Глава 3

Звон, слышный и в аду, умолкни!<sup>14</sup> Проснулся я разбитым – без бодуна, но зато с огромным чувством вины. Я помнил очень немногое из того, что наболтал или натворил под действием кириллицы, и только благодаря неким евангелистам-синоптикам<sup>15</sup> мне удалось в конце концов сложить воедино картинку моего вчерашнего «жития». Самым красноречивым оказался беззубый человек в ботинках и пижаме, который мало-помалу проявился из зубастого и костюмированного торговца керосином, заговорившего со мной в городском баре и давшего подробнейший отчет о моем ноктюрне на Клаттербак-авеню. Беззлобно, конечно, однако с явным удовольствием. Чарльз Доз его звали, и он согласился со мной, что в мире слишком много прелюбодеяствия.

– По зрелом рассуждении, я понимаю это так: война заставила нас забыть, как все было раньше, и вот они проворачивают дельце с разбавленным молоком, и даже микстура от кашля уже не та, что раньше. И консервированный лосось. Вы видели где-нибудь консервы из лосося или сосиски как

---

<sup>14</sup> Цитата из стихотворения А. Хаусмана «Бридон-хилл»: Колокола как прежде Зовут, с собой в ладу: «Все в Божий храм придите»... Звон, слышный и в аду, Умолкни! Я иду...

<sup>15</sup> Синоптики – первые три евангелиста (Марк, Матфей и Лука), повествования которых составляют одно целое, дополняя друг друга.



до войны?

Однако в это засушливое и ветреное воскресенье я был убежден, что сильно обидел какую-то даму или кого еще, и даже боялся выйти из дому. И только во время запоздалого завтрака, когда я сыпанул в суповую тарелку немного овсяных хлопьев, ветер, проворным змеем просочившийся под дверь кухни, принес имя Уинтера. И тогда распутство заголосило из «Новостей со всего мира», а я сидел, зажатый отцовским креслом, и кусал ногти перед электрокамином. Отец мой, добрый и целомудренный человек, ушел играть в свой ветреный гольф. В полпервого он с друзьями отправится в «Роял Джордж», в Чалбери, к «девятнадцатой лунке»<sup>16</sup>, а потом его подбросят до сестриного дома, куда мы с ним званы на ланч сегодня и каждое воскресенье. Машины у меня не было, и я внезапно содрогнулся от мысли, что мне нужно вот прямо сейчас выйти из дому, пройти с полмили, потом стучать зубами на перекрестке в ожидании нечастого автобуса, который ходил до «Прелата и кабана» (где не было ни прелата, ни кабана, ни даже паба с таким названием), а оттуда еще полмили топать пешком к деревне, населенной пассажирами с сезонными проездными билетами. И все это ради сестриной дурной стряпни, улыбки зомби на лице зятя и древнего лохматого пса, который громко пердел, лежа под нашими стульями. И еще, конечно, изображать семей-

---

<sup>16</sup> По правилам в гольфе нет девятнадцатой лунки – так в Англии традиционно называется паб при гольф-клубе.

ную солидарность (хотя Берил была безразлична к отцу и не выносила меня, на что мы с отцом отвечали взаимностью), потому что вся эта мистика вдруг стала важна отцу после смерти матери. Так что я быстро побрился, повязал галстук и, по самые уши погрузившись в воротник пальто, побрел сквозь доставучий песчаный ветер к автобусной остановке, моля бога, чтобы никого не встретить.

В ожидании я сучил ногами на остановке и, поглубже засунув руки в карманы, вслух крыл Англию на чем свет стоит и приплясывал на ветру, который напрасно стучался в воскресные магазины. Сигаретные пачки, футбольные программки, автобусные билеты проплывали мимо в пылевых призраках субботы. Женщина с красно-коричневым лицом и молитвенником цвета бланманже тоже ждала автобуса до «Прелата и кабана» и с красно-коричневым неодобрением поглядывала на меня. Через двадцать минут перед нами разверзся автобус из города, почти пустой, и он заглотил нас, этот зев воскресной тоски. И вот так мы воскресничали, громяхая и скрипя в пустоте выходного дня, я – на втором этаже, комкая одиннадцатипенсовый билет и изучая рекламу зимних коммерческих курсов, прилепленную к стеклу. Мной овладело беспокойство, я подумал, что, скорее всего, никогда не осяду в Англии – после токийских эротических шоу и ломтиков зеленого перца, загорелых ребятишек, плещущихся у придорожных водокачек, жужжания кондиционеров в спальнях, огромных, как танцевальный зал, ничтож-

ных налогов, пряных закусок, ощущения себя большим человеком в большой машине, баров в аэропортах Африки и Востока. Был ли я прав, чувствуя себя виноватым? Кто я такой, чтобы рассуждать о безответственности современной Англии? Я рассматривал деревушки, ковыляющие мимо, ветер теребил клочки рекламных плакатов давно минувших событий. Все, что мне нужно было, – это, конечно, выпивка.

Я получил ее в холодном пабе на полпути от конечной остановки автобуса к дому сестры. Мне пришлось пробиться через толпу мужиков в шапках, которые оживленно беседовали в общем баре о древнем Артуре. Я чувствовал себя пришельцем, обиженным даже хозяином: когда заказывал двойной виски и продемонстрировал визитки в бумажнике, воцарилось враждебное молчание.

К сожалению, виски разбудил кириллическое пойло, и моя речь стала неразборчивой, когда я спросил сигареты, а рука со всеми ее пальцами – неуклюжей, когда я подбирал сдачу. Казалось, что за мной наблюдают сквозь прорезь прицела. Пришлось спросить еще виски, чтобы доказать способность поглощать алкоголь (как же мы бываем глупы, когда опасаемся сомнений в своей мужественности), и когда я выходил, то толкнул дверь, вместо того чтобы потянуть на себя.

– Дерни ее, приятель, – сказал кто-то, и мне пришлось по-виноваться. Я навернулся о скребок для ног, и, когда дверь захлопнулась, послышался громкий смех. Мерзкое, острое лезвие ветра полоснуло со стороны сестрицыного дома. Я ис-

пытывал стыд и ярость. На Востоке же царила вежливость, двери открывались как следует, и не было никаких скребков.

В доме сестры тоже громко смеялись. Я услышал, когда постучался. Но на сей раз смеялись зрители в радиопередаче, и этот смех размазал мою депрессию, как джем по черствой галете моей ярости.

Дверь открыл отец с воскресной газетой в руке, обессиленный от гольфа. Он порывисто кашлял, отчего вспыхивал уголек сигареты у него во рту. Увидев, что это я, он покашлял, кивнул и вернулся в дом читать спортивные новости.

В гостиной стоял запах дряхлой псины, земной укор размытым влагой картинам немислимых псов на стене. Добропорядочный черный телефон застенчиво сверкал из-за цветастых штор – этакий самодельный шатер Берил для долгого безмятежного трепса с подругами, если они у нее были. Я заметил выжженное на фанерке стихотворение, расхлябанное по форме и высокопарное по содержанию:

В этом мире вздора, где  
Словно камни, две есть меты:  
Доброта, коль друг в беде,  
Мужество, когда в беде ты.

Здравый школьный юмор Берил был представлен макароническим образцом в рамке: «*Я – хохотирен, ты – улыбатю, он – смейон*». Слышно было, как Берил в кухне в конце коридора мурлычет выхолощенную версию «Зеленых рукавов», и

пары сочной зелени рвутся из-под шума картофелемялки. Я снял пальто и услышал, как спустили воду в туалете на втором этаже и как потом защелкнулась дверь. По ступенькам, застегивая ширинку, спустился Генри Морган, муж Берил.

– Йо-хо-хо, – сказал я, – как поживает король пиратов?

Ему это никогда не нравилось.

– Эверетт уже там, – ответил он и, подумав, кисло улыбнулся мне задним числом.

– Кто такой Эверетт?

– Он работает в местной газетенке. Был когда-то большой шишкой вроде. Берил сейчас ведет колонку сельских новостей. Два пенса за строчку.

– Должно быть, солидный вклад в семейный доход.

– Да не очень, вообще-то. Скорее почета ради, как нам кажется. Иди же, познакомься с Эвереттом. Ему уже не терпится тебя увидеть.

Мы вошли в гостиную, где нас горячо встретил пес. Мне не хотелось ехидничать по поводу обстановки, в комнате было тепло, а тепло никогда не грешит дурным вкусом. Но этот самый Эверетт защищал огонь в камине, как будто кто-то мог стащить его, и поджаривал себе задницу, листая одну из книг Моргана. За час он мог бы перелистать их все. Эверетт поднял взор, в котором горело безумие, – этакий огрызок человека в коричневом ворсистом спортивном пиджаке с карманами, которые, судя по дребезжанию, были набиты шариковыми ручками. Ему было пятьдесят с хвостиком, к лысине

приклеился пустой нотный стан из пяти жгутиков волос, под армейскими очками скрывались совсем белесые глаза, глаза, почему-то навевавшие мысли о «георгианских стихах». И тут выскочило имя, потому что кто-то в этом городе когда-то упомянул, что Эверетт написал стихи, которые этот кто-то учил в школе, и что имя Эверетта можно найти в георгианских антологиях – незначительное имя, по правде, но все еще представляющее более благородную традицию искусства, чем программы на радио, которое Генри выключил наконец. Нас представили друг другу. Отец в глубоком кресле у камина насупился над спортивными колонками, пальцы его рассеянно плескались в шерсти вонючей старой собаки, будто в воде канала.

– А вот и один из торговых князей, – хихикнул Эверетт. Его голос намекал на приглушенные звуки фортепьяно – *una corda*<sup>17</sup>, думаю, что-то в этом роде. – *Высоко, на троне Ормуза и Индии или тех стран, где роскошный Восток щедрой рукой осыпает своих варварских царей жемчугом и золотом*<sup>18</sup>.

Он протараторил эти строки, как человек, начисто лишенный чувства слова, и опять захихикал, поглядывая на Генри в ожидании аплодисментов. «Переврал первые две строчки», – отметил я с жалостью, но только улыбнулся и сказал.

---

<sup>17</sup> *Una corda (um.)* – «одна струна», термин используется для обозначения в нотах использования левой педали фортепьяно, приглушающей звук.

<sup>18</sup> Поэма Джона Мильтона «Потерянный Рай» цитируется в переводе А. Н. Шульговской.

– Книга вторая, не так ли? Я читал это на вступительных экзаменах.

– О, – ответил Эверетт, – но слышали бы вы Гарольда с «Потерянным Раем»! Во времена старых добрых Дней поэзии в книжном магазине – и это, полагаю, единственное, чего мне не хватает в ваших заграницах, – родственные души объединялись в любви к искусству; я имею в виду совместное чтение стихов, держа, пусть и слабой рукой, зажженный факел. Культуру то есть. Хотя, конечно, нас в этом городишке, – он печально улыбнулся, – так мало, крайне мало. Но каждый старается. Человек пишет традиционно, но всегда готов изменить традицию. Паунд, Эзра, как вы знаете, Паунд сказал: «И мало пьют из моего ключа»<sup>19</sup>. Красота, – оценил Эверетт, очки его обратились к окну. Глаза исчезли, и я вдруг увидел Селвина из минувшего вечера и начал что-то припоминать. Какие-то яйца, какая-то аура или что-то в этом роде. Кто-то внутри уличного сортира. Пес посмотрел на меня снизу вверх сквозь волосатую паранджу и пёрнул.

– Благодарю за стрелку<sup>20</sup>, – вспомнил и я.

Эверетт откликнулся:

– Возможно, небольшую заметку для «Гермеса». Взгляд вернувшегося из ссылки на изменившуюся Англию. Или какие-нибудь диковинные сказки Востока, может. Нам надо

---

<sup>19</sup> Цитата из стихотворения Э. Паунда «Вилланелла. Час психологии»: Красота такая редкость. И мало пьют из моего ключа (Перевод А. Ситницкого).

<sup>20</sup> У. Шекспир «Укрощение строптивой», V, 1 (Перевод М. Кузмина).

встретиться где-то в тихой обстановке.

– Вы же не забудете, – спросил Генри Морган, – черкнете о моей выставке в «Литературное творчество»? Хотя абзац или пару?

– А что это? – спросил я, изображая интерес.

– О, – отозвался Генри, – у нас наилучшие результаты. Они просто самовыражаются, как им нравится. По аналогии с рисованием. Я хочу сказать, вы не обременяете ребенка перспективой пропорциями и прочим. Просто даете им рисовать. Ну или писать. И результаты просто...

Вошла Берил в фартуке, несомненно довольная своим кулинарным творчеством. Вы не сильно обременяете себя температурой в духовке, или приправами, или тем, чтобы как следует вымыть капусту, просто самовыражаетесь, как вам нравится. У Берил всегда довольный вид. У нее и лицо в самый раз, чтобы изображать довольство, – толстые щеки для улыбки и полон рот зубов. Мне трудно сказать, хорошенькая она или нет. Я думаю, что хорошенькая, наверно, но она всегда оставляла у меня впечатление какой-то неопрятности, как нестираное нижнее белье и чулки со спущенными стрелками или как невымытые волосы.

Она обратилась ко мне:

– Привет, бра.

В детстве это была обычная апокопа для «брат», но потом она научилась «произношению согласно орфографии», так что теперь это «бра» напоминало остывший суп, поданный



на рассвете в затрапезном борделе.

– Привет, Баррель, – ответил я. Скоро, надеюсь, это извращение ее имени будет соответствовать ее объемам.

– Все готово, – сказала она, – прошу за стол.

Это был сигнал для отца зажечь новую сигарету, энергично закашлять и загроыхать в туалет на втором этаже.

– Папа, – сказала Берил вдогонку, – суп на столе.

– Суп на столе, – повторил Эверетт. – Милый Гарольд из этого мог бы чего сочинить. Сейчас... – Он испил света из окна, напомнив мне Селвина, и симпровизировал со многими паузами и смешками:

Суп на столе, и рыба томится.

Что пожелаешь, то и случится —

Сердце огня забудется сном.

С полпудика груди и пудинг потом.

– Вот тебе урок «Литературного творчества», – сказал я Генри, сильно ткнув его в бок – этому трюку я научился у Селвина.

Берил смотрела на Эверетта с восхищением, и ее сияющие женские глаза говорили: «Глупый мальчик, растрачивающий свой ум на стишки. Вот к чему он пришел в этом мире, к поэзии. Ох, мужчины, мужчины, мужчины...»

Отец, кашляя, тяжело спустился по лестнице, сопровождаемый фанфарами сливного бачка в туалете. Мы приступили к ланчу.

Еда была претенциозная – что-то вроде свекольника с крутонами, недожаренная свинина с сильно разящей капустой, картофельные фрикадельки, консервированный горошек в крошечных пирожках, жидковатый крыжовенный соус, бисквит в загустевшем вине, такой липкий, что все мои зубы сразу загорелись – ужасная какофония на двух мануалах органа. Дряхлая собаченция ходила от стула к стулу, соперничая с капустой и отцовским кашлем, пока Эверетт рассуждал о поэзии и «Избранных стихах 1920–1954 годов», которые Танненбаум и Макдональд готовы опубликовать, если только сам Эверетт будет готов вложить несколько сотен фунтов, застраховав их от определенных финансовых потерь. «Ага, – подумал я. – Это он меня пытается подцепить на крючок». В раздражении я скармливал псу свинину кусок за куском.

– Это расточительно, бра. Ты хоть знаешь, сколько сейчас стоит свиное филе? Мы, знаешь ли, в деньгах не купаемся.

Ну вот, старая песня на новый лад. Я ничего не сказал. Я поставил недоеденное дежурное блюдо на пол, и пес, сплошная шерсть и язык, проглотил фрикадельки, и капусту, и соус, но проигнорировал пирожки с горохом. Берил побагровела:

– Ты никогда не умел вести себя за столом.

Я улыбнулся, поставил локти на стол, оперся подбородком на руки и спросил:

– Что на десерт?

Эверетт с радостью оторвался от тарелки.

– Стихи! – объявил он.

Должен сказать, что не было в работе его ума ни грана на-туги, ни грана наигранности – стишки рождались естествен-ным образом, выскакивая из ритмической сетки речей его собеседников. И вот что он сочинил между укусом липкого бисквита и острым приступом зубной боли:

Десерт? Плохо вел ты себя на обеде:

Локти на столе, соус на лице.

В пять локтей могилой теперь ты съеден.

И «Что на десерт?» – ты узнал в конце.

Потом он разглагольствовал о великих днях меценатства. И как доктор Джонсон мог самонадеянно попросить Уорре-на Гастингса<sup>21</sup> стать меценатом для ост-индского клерка, ко-торый перевел какие-то стишки с португальского. Он подби-рался ко мне все ближе и ближе, и я не мог не восхититься тонкостью его рыболовных навыков.

Неожиданно, без предупреждения, безотносительно ко всему, что говорилось, отец нарушил молчание и завел долгий, поистине захватывающий разговор о современных шрифтах – *Goudy Bold*, *Temple Script*, *Matura*, *Holla and Prisma*. Потом он поведал туманно о шрифте на десять пунк-тов, именуемом «корпус», и о четырехпунктном «диаманте»,

---

<sup>21</sup> Уоррен Гастингс (1732–1818) – первый английский генерал-губернатор Ин-дии (в 1773–1785 годах). Вместе с Робертом Клайвом вошел в историю как ос-нователь колонии Британская Индия.

и «миньоне» о семи пунктах, и Эверетт вынужден был повторять: «Да, да я понимаю, вполне понимаю, как интересно».

Отец вытащил карандаш и собрался проиллюстрировать на салфетке разницу между «кентавром» и «плантином», когда мой зять встрял в беседу:

– А что там с Уинтерботтомом, которого ты споил вчера? Я посмотрел на него отсутствующе, ибо отсутствовал.

– Да, – настаивал Генри, – мне рассказали этим утром в церкви.

– В какой церкви? Где?

– В нашей церкви, здесь. Ласк, наш органист, был у вас в церкви на причастии, потом к одиннадцати он приехал сюда на заутреню. Он рассказал, что Уинтерботтом спал на паперти. И парнишка-звонарь раззвонил, что ты там тоже был прошлой ночью.

– Что еще за парнишка-звонарь?

– Да малый, слегка двинутый такой очкарик. Который видит, как мертвые восстают из могил, как он говорит.

– Генри, – сказала Берил с гордостью, – утром проводил урок.

– Я не очень хорошо помню, – ответил я. – Тропическая амнезия. Такое случается подхватить на Востоке. Но откуда ты знаешь Уинтера-принтера?

– Из школьного журнала, – ответил Генри. – Славный парнишка. Он сказал, что у него часы спешат, и потому он при-

шел в церковь раньше.

Эверетт начал цитировать что-то траурное из А. Э. Хаусмана.

Берил сообщила:

– Кофе будем пить в другой комнате.

Мы встали, и Эверетт сказал:

– Совершенный пентаметр. Однако не так много рифм. Гробница-темница. А жаль.

Я уже был сыт по горло поэзией, и несварение расплзлось, как горелое пятно на газете, когда разжигают камин.

– А чем вы там занимаетесь? – спросил я Эверетта.

– В «Гермесе»? А, веду литературную страницу, статейки пописываю. Об упадке сильных мира сего. Это слабый отзвук минувших дней – времен «Порыва»<sup>22</sup> и «Адельфи»<sup>23</sup> и поэтической колонки, которую я редактировал когда-то. Я обязательно покажу вам кое-что из моего. Но погодите, я же уже предложил встретиться, не так ли? Вернувшийся изгнанник, и его видение филистимлян Англии.

– Конечно же, – вдруг он обратился с непререкаемой убежденностью к Генри, – это же муж Элис, Элис из клуба.

– Ну да, – сказал Генри, – Уинтер, она говорит, но мы-то все знаем, что он Уинтерботтом.

– Вы не поверите, – обратился Эверетт ко мне, – но в на-

---

<sup>22</sup> Анархистский журнал, выходивший два раза в месяц с 1916 по 1917 г. в Сан-Франциско.

<sup>23</sup> Литературный журнал, издававшийся в Лондоне с 1922 по 1955 г.

шем пуританском городишке действительно есть клуб.

– Клуб, – откликнулся я. – Место, где можно выпить, когда пабы закрыты?

– Да, – ответил Эверетт. – Полиция не в большом восторге, но даже они понимают, что хорошо иметь место, куда можно повести заезжего бизнесмена. Разве не абсурд, что в таком богатом индустриальном городе, как этот, нет места с приличной кухней, куда можно повести человека и выпить с ним потом. И вот приходится ехать в «Леофик» в Ковентри. Хотя здесь уже есть один приличный индийский ресторан, и это нечто, но еще есть «Гиппогриф».

– Что есть?

– «Гиппогриф». Клуб на Бутл-стрит. И его я имел в виду, думая о встрече с вами, а потом мы поболтаем. Почему бы не завтра? Скажем, в четыре часа. И я могу помочь с членством. Если вас интересует эта затея. Как долго вы пробудете здесь?

– Меня интересует эта затея, – сказал я, – спасибо. – И вдруг сообразил, что я сильно обидел миссис Уинтер и что она может там оказаться. Лучше мне туда не ходить. Я спросил:

– А какое отношение ко всему этому имеет миссис Уинтер?

– Элис? О, она барменша. И дочь трактирщика. Она обслуживает после полудня. Потом ее сменяют в шесть.

Появилась Берил с кофе, и Эверетт, взяв чашку, продекламировал:

Овсянка в тарелке. Будь, кофе, пахуч.  
С тобой нам блеснет спасения луч.

Сообразив, что все это не совсем к месту, он захихикал и сказал:

– Великолепный ланч, великолепный, великолепный.

– Ну слава богу, что хоть кто-то так думает, – заметила Берил, глядя на меня.

– И псина тоже, – безжалостно ответил я.

Собака спала, время от времени тихо попукивая. Папа спал тоже, сжимая в руке газетный заголовок «УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПРИВЯЗАЛ ЖЕНУ К БИДЕ».

Я спросил у Эверетта:

– Как ее девичья фамилия? Миссис Уинтер, я имею в виду.

Он энергично помешал кофе.

– Так, минутку. Был такой уютный старый паб «Три бочонка», он обслуживал исключительно американцев, сержантов, пострадавших от химических атак. Хозяина звали, кажется, Том Нахер. Нахер на Уинтерботтом. Неплохой обмен.

## Глава 4

Я проснулся в понедельник, чувствуя себя хорошо и невинно, к тому же на удивление здоровым. Стряпня Берил наградила меня несварением – горящий уголь за грудичной, омерзительное тепловое излучение по всему подреберью, кислотная отрыжка, периодически впрыскивающаяся в рот, как автоматический слив в писсуаре, и я очистился во время моциона, пройдя полпути или около того, возвращаясь домой. Не то чтобы я сам нарочно решил идти пешком. Генри Морган предложил подвезти отца в своем спортивном трехместном автомобиле, и Берил сказала, что составит им компанию, чтобы «проветриться». В этом вся Берил! Будь у них четыре места в салоне, она бы решила остаться у очага с каким-нибудь жутко женским журналом или жизнерадостным наркотиком а-ля доктор Панглос<sup>24</sup> от «Ридерз дайджест».

Хорошо я чувствовал себя, потому что поупражнял не только печень, но и терпение. Я позволил Берил кусать меня безответно. Я не дал вовлечь себя в гнусную перепалку о деньгах. Я даже вызвался мыть посуду, но, похоже, Берил сочла это еще одним доказательством всей полноты моего лицемерия, еще одним симптомом мерзости, накопленной

---

<sup>24</sup> Доктор Панглос – герой повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм».



мною вместе с деньгами. Я чувствовал себя хорошо, потому что был понедельник и мне снова напомнили, что я свободен от английского пуританства, что осязаемая теология – «Воскресенье есть шаткий Эдем, понедельник – падение», – не властна ни над моими нервами, ни над желудком.

Воскресный кошмар остался далеко позади – деревушка лежала в пудингово-мясном ступоре посреди пустынного послеполуденного беспития: жирные тарелки, неубранные постели, колокол вечерни, яркие лампы, будто нарочно зажженные, чтобы обнажить со всей прямотой понедельника скудость всего, о чем сумерки на чайном подносе шутили по-воскресному развязно.

Мне приснился приятный сон про мои университетские дни, про тот год, когда я изучал английский, провалил на первом курсе экзамен и лишился стипендии, приснились мои друзья Маккарти и Блэк, с которыми мы, скинувшись по полкроны с носа, напивались каждый пятничный вечер и декламировали шлюхам англосаксонскую поэзию. Я проснулся под ласковый понедельничный дождь, вспоминая без печали, что и Маккарти, и Блэк давно умерли – один на Крите, другой – в море, и что моя жизнь после войны подарила мне свободу, все стало по барабану, честное слово. Отец кашлял в постели. Я пошел в туалет и с удовольствием опростался, потом спустился на кухню приготовить чай. Пока чайник закипал, в дом проникла, подобно рассерженному миру, утренняя газета, и я прочел огромные, дурные, как привет-

ствия в любовных письмах, заголовки. Потом я отнес чай отцу, спустился опять, чтобы выпить его и самому, сидя перед электрическим камином, и внимательно почитать комиксы. Сущие мифы – эти новости в газетах.

Отец всегда сам готовил себе завтрак. Он спустился, показавшись мне отчего-то особенно постаревшим и разбитым в этих обвисших штанах на помочах и рубашке без воротника. Но он собственноручно поджарил яичницу с ломтиком бекона, напевая между кашлем, потом сел к столу, поставив перед собой блюдо, плавающее в свином жиру, и поперчил его из пакетика. Потом пришли письма – настоящие, из реального мира после вымышленного, газетного – и одно из них мне, от моего начальника. Перец почему-то всегда уни-мал отцовский кашель, так что чтение весточки от его сестры из Редрута сопровождалось лишь тяжелой одышкой и при-чмокиванием. Моя фирма требовала, чтобы я в среду явился в Лондон – ничего серьезного, но Чалмерс в Бейруте ушел на пенсию, а Холлоуэй в Занзибаре серьезно болен, и возможно перераспределение в высшем руководстве. Я почувствовал головокружительное облегчение от возможности сбежать в Лондон не для поисков распутных развлечений, но по делу – я еще не полностью освободился от английского пуританства.

Я отварил два яйца и только собрался поесть, как зазвонил телефон. Спрашивали меня, и это был Эверетт.

– Денхэм, – сказал он, – доброе утро, Денхэм. Дрянное

утро, не так ли? Вот что, я, может быть, опоздаю. Мне надо встретить поезд, знаете ли, дочка, она только что снова ушла от мужа, о, это долгая история. Но все равно, будьте там. Вы же придете? Я приду с ней. Я видел Мэннинга вчера вечером, он там всем заправляет, так он сказал, что с радостью выдаст вам временный членский билет. Так или иначе, я всегда к вашим услугам, дорогой мой, пока вы тут с нами, и всегда с радостью. Ни о чем не думайте.

Ясное дело, я для него много значил. Голос Эверетта сопровождался стуком печатных машинок, большой занятой мир. Я продекламировал:

Спасибо, что вы позвонили мне.  
Но яйцо каменеет уже на огне,  
А на тарелке – другое...

Я хотел сказать, что второе яйцо затвердевает, как земля в ожидании человека, который ступит на нее, но не смог сразу найти рифму. Эверетт хихикнул, смутившись, как если бы поэзия была уместна в воскресенье, но никак не утром в понедельник, если не считать, конечно, ее товаром на продажу. Он сказал, что мы еще увидимся, и повесил трубку.

Я отправился в город на автобусе, оставив отца в садовом сарайчике заниматься чем-то необъяснимым, но полезным. Дождь уgomонился, но улицы еще были осклизлыми, в разводах нефтяных радуг. Я зашел в банк снять еще пятифунтовых банкнот, потом стоял, как голодранец, в городской

библиотеке, читая «Крисчен Сайенс Монитор», потом отправился за первой утренней выпивкой в забегаловку, облюбованную разного рода торговцами. Официантами там служили беженцы из Венгрии, а негр из Вест-Индии собирал грязные бокалы – все мы там были теплая компания беженцев. Неожиданно меня пронзила тоска по пряному Востоку, и вспомнилось, что Эверетт что-то говорил об индийском ресторане. Я спросил бармена, огнегривого ирландца, а тот справился у одного из бизнесменов (пакистанца, судя по всему), а потом вернулся ко мне и доложил, что ресторан «Калькутта» находится на Эгг-стрит около Птичьего рынка. Я пошел туда и съел там безвкусный дал<sup>25</sup>, жесткую курицу, жирный пападам<sup>26</sup> с рисом, застывшим, как пудинг. Обстановка могла вогнать в депрессию – коричневатые засаленные обои, календарь с бенгальской красоткой (голой, безумно сдобной, лет этак тридцати восьми), – и было очевидно, что несколько индийских студентов лакомятся особым карри<sup>27</sup>, приготовленным для своих.

Управляющий был из Пондишери, он называл меня «ме-

---

<sup>25</sup> Дал (также дхал, даал) – традиционный вегетарианский индийский пряный суп-пюре из разваренных бобовых.

<sup>26</sup> Пападам – очень тонкая круглая выпеченная лепешка из чечевичной муки, распространенная в различных регионах Индии и Непала.

<sup>27</sup> Карри – название разнообразных распространенных на юге Индии пряных густых жидких блюд из тушеных овощей, бобовых и/или мяса. Карри обычно приправляются пряной смесью приправ и, как правило, подаются с рисом. Смесью приправ для карри также называется «карри».

сье», и мои нарекания его не слишком-то впечатлили. По меньшей мере один из официантов был с Ямайки. Обозлившись, я убрался в паб, где хозяйка шастала в бигудях, и пил там бренди до закрытия. Утреннее хорошее настроение улетучилось. Когда дверь паба закрылась, день широко разинул пасть – и эту дыру следовало чем-нибудь заткнуть. Клуб, конечно. «Гриффин», «Гиппократ» – или как там его. Недоподвыпивший, а потому злой, я ни о чем не мог думать, кроме обличительных нападок на прелюбодейство. Потом я несколько успокоился, вспомнив о том, какую свинью подложил некой прелюбодейке, и рассмеялся добрым полуденным смехом над всеми Нахер-Уинтерботтомами прямо в кислую физиономию окружающей меня серой улицы. И так хорошо и смиренно было мое доброе отношение к Берил, что я решил и впредь быть великодушным ко всем женщинам, даже когда они согрешат. Я чувствовал, что впадаю в сентиментальность, так что пришлось пойти на центральную улицу с большими магазинами, где уже зажигали огни, и в чувственном порыве купить «Летающие облака» и «Три Замка» в табачной лавке, где управляющий был одет как шафер на великосветской свадьбе. Над фонарями великое умирающее зимнее небо гремело, словно орган. Я зашел в молочный бар выпить чашку чая, сел возле удобной хромовой стойки с кружками, и вскоре кто-то толкнул меня в бок.

– Ага-аа, – обрадовался Селвин, – дебось дикода не дубал, что увидишь меда здесь, бистер?

Перед ним стояла какая-то бурда, украшенная кремом, его глаза прятались за огнями фонарей с улицы, отражающихся в его окулярах, идиотский рот был открыт. Одет он был во что-то вроде джинсовой униформы заключенного, вид у него был победоносный и виноватый одновременно.

– Думаешь дебось, что у бедя выходной? А вот и детушки. Я придес посылку бистеру Гуджу на Йенри-стрит.

Раззявив рот в беззвучном хохоте, он изобразил какой-то судорожный танец, крем мрачно плясал вместе с ним. Потом он сказал:

– Некода мде тут болтать с вами, бистер. Увидибся вечером в субботу.

Он засмеялся гулко, как далекая корабельная сирена или пустая пивная бутылка, притворившаяся флейтой.

– Ты тада таак доклюкался, – сказал он мне и обратился к молочному бару: – Он тада таак доклюкался.

– Позволь мне угостить тебя еще одним стаканом этого крема, – сказал я. – Что же я натворил?

– Крээб? Это ди крээб. Это, – он открыл меню и громко прочел: – Болочдый коктейль «Золотое величие». Тедова бис-сис проклидала Теда да чем свет, – продолжил он, – Сесилу было дурдо, а у Седрика башида оказалась за пять улиц, и од ее еле дашел. А вот я как огурец, бистер. Даже в колокол зводил наутро. Ага-а! – Он победоносно пихнул меня в бок.

– А я?

– Ты ушел болтаться по улицаб, бистер, – и он шестью гул-

кими порывами прогудел снова, как в бутылку: – До никтооо  
ди сказаал твоебуу пааапe.

Анемичная барменша в отбеленном поварском колпаке, утомленные посетители – читатели утренних газет, – все это не вызывало ни малейшего интереса. Я уже смертельно устал от безответственности, возложенной на меня пригородной Англией (Тед Арден? Селвин? Напиток с кириллицей?). Мне же полагается быть взрослым, человеком, на которого можно положиться, уважаемым старшим служащим в уважаемой экспортной фирме. Я встал с вертящегося стула, решив немедленно ехать в Лондон. Когда я выходил, Селвин крикнул вдогонку:

– Ты ди допил чай! – а потом повторил окружающим: – Од ди допил чай!

Я знал, где находится станция, лондонское направление, надо бы позвонить отцу или отправить телеграмму. («Решил, поеду сегодня. Скоро вернусь»). Когда я шел по пути к железке, этой иллюзии свободы, мне казалось странным образом, что я возвращаюсь в детство. Может, из-за уютной тусклости газетного магазинчика, комиксов в проеме двери, так похожей на ту, у которой я замешкался однажды в зимнем странствии домой из начальной школы. Прокопченные сумерки города резонировали на моей шкуре, как камертон. В памяти останется последний урок дня – изорванная хрестоматия под муниципальными фонарями, колокольчик булочника, мурууу, сказала кошка, робин-бобин, тени детской,

доля оборвыша, за цыганской звездой кочевой, и еще какие-то незатейливые и современные невинные стишки таких поэтов, как Дринкуотер, Дэвис, Ходжсон, Эверетт<sup>28</sup>.

Ясное дело, мой разум готовил меня к появлению Эверетта, как оркестр готовится к вступлению побочной темы. Эверетт чуть ли не галопом летел, чтобы нагнать меня, запыхавшись.

– Нет, – выдохнул он. – Все не так, ну что же вы. Мы же должны были встретиться в «Гиппогрифе». Это мне надо было на вокзал. Я *подумал*, что, может, я позвонил слишком рано...

– Ваша дочь, – сказал я.

Девочка, которой он посвящал стихи, мечтая о ее будущей красоте, воспевал ее надрывающую сердце невинность, шаловливые ноги под клетчатой юбкой, прямые льняные волосы. Женщина, снова ушедшая от мужа.

– Сколько вам лет? – спросил я.

– Пятьдесят семь.

– Ну да, – сказал я, – вы казались мне таким старым, когда я учился в школе. А Гарольду Монро?<sup>29</sup>

– Гарольду? Гарольд умер. Он скончался в тысяча девятьсот тридцать втором году.

---

<sup>28</sup> Повествователь упоминает Эверетта наряду с реальными английскими поэтами «второго ряда»: Джоном Дринкуотером (1882–1937), Хью Сайксом Дэвисом (1909–1984), Ральфом Ходжсоном (1871–1962).

<sup>29</sup> Гарольд Монро (1979–1932) – английский поэт и издатель, открывший книжный магазин «Лавка стихов» в Блумсбери.



Мы входили на платформу, цыганская звезда кочевая сияла на огромном белом циферблате.

– Мы рано, – сказал Эверетт. – Она приедет не раньше пяти.

– А следующий поезд в Лондон?

– В восемь десять, кажется. Я надеюсь, вы не собираетесь покинуть нас так скоро?

– Как сказать.

Нас окружали праздничные плакаты с прошлого лета.

– У меня там дела. Завтра, наверное.

Эверетт купил перронный билет, я был без гроша, он купил и мне.

– Есть время выпить чаю, – предложил он, и мы с шумом зашагали по прогнувшимся доскам застекленного моста к лестнице, ведущей на четвертую платформу.

Мы вошли в грязную чайную, обставленную в готическом стиле, и Эверетт заказал чай. Официантка обслуживала нас с усталым пренебрежением: она относилась к посетителям словно к тупому бесконечному фильму, способному только с помощью заказов и денег установить редкий стереоскопический контакт с ее реальным, но еще более тупым мирком. Эверетт проводил меня к столику и заговорил печально, но настойчиво.

– Моя дочь Имогена, – сказал он, – боюсь, она и правда сделала не слишком удачный выбор, выйдя замуж. Но я искренне надеялся, что дела пошли на лад в последнее время,

потому что она не приезжала домой уже более года.

– У вас еще дочери есть? – спросил я, поскольку был уверен, что Эверетт, выбирая имена, не опустился бы ниже Корделии, Пердиты, Миранды, Марины<sup>30</sup>. Но он покачал головой и сказал: – Мое единственное дитя.

– А ваша жена еще жива?

Он снова покачал головой, но в этот раз это означало что-то другое. Он добавил:

– Я бы не удивился, если это так. Трудно вообразить, что эту женщину возможно убить.

– О! – Мне понравилась эта поэтическая откровенность.

– Ну что я могу сказать Имогене, ну правда? Она знает все о матери. Она знает, что всегда может пулей вылететь с чемоданом, и, как ни странно к отцу, чья жена делала абсолютно то же самое, унеся в итоге гораздо больше, чем просто чемодан.

– Что это значит?

– Все. Уйму всего. Даже абажуры.

– Понятно. Видно, это долгая история.

– Если задуматься, о браке написано совсем немного стихотворений, – сказал он. – Вроде эта тема не совсем естественна для поэзии, не то что любовь, измена и вино. Это может означать только, что брак – явление неестественное.

Он снова размешал чай, как будто отчаянно хотел выудить

---

<sup>30</sup> Имогена, Корделия, Миранда, Марина, Пердита – имена шекспировских героинь.

что-то сладкое хоть откуда-нибудь.

– Отцовство, однако, совсем другое дело.

– Могу только вообразить.

– Никогда не приходилось? – невинно спросил он. – Неужели вы не народили цветных ребятишек в ваших недолгих чужеземных путешествиях?

– Возможно. Я не знаю. Но это же ненастоящее отцовство, разве не так?

– О да.

Он опустошил чашку.

– Она захочет выпить по-настоящему, как только придет, – сказал он, – вся в свою мать. Но мы можем повести ее в клуб, конечно.

– Сколько ей лет?

– Имогене? О, двадцать восемь, тридцать, около того.

Казалось, он потерял интерес к разговору о своей дочери, угрюмо глядя на стену с желтой инструкцией железнодорожных правил. Но когда стали слышны предвестники приближающегося поезда – оживившиеся носильщики, неразборчивая речь объявлений, неистовое кипение горячего чая, – он снова пришел в нетерпение и выбежал стремглав на платформу.

Я последовал за ним. Поезд надвигался. Я увидел, как машинист надменно выглянул из уютного пекла, обменявшись – как солдат и тыловой служащий – секретными взглядами с официанткой из чайной. Пассажиры, лишённые иллюзий

прибытия, выходили безрадостно в серый пар; пассажиры, жадные до иллюзии, локтями расталкивали друг друга, прокладывая себе дорогу. Девушка подбежала к Эверетту с криком «Папочка!».

Поэт и дочь поэта обнялись. Значит, это и есть Имогена. Думаю, в самый раз процитировать стихи Эверетта, написанные ей – семилетней, хотя сам я впервые прочел их только после этой первой встречи с нею:

Ты сердце мне разбиваешь, моя малышка,  
Невинное чудо – на рвущей душу земле,  
Как все ее чада – теленок, утенок, мышка  
И олененок, еще не чующий ног.  
Шелков серебристых касаясь твоих, я смог  
Коснуться ужасной тайны рожденья во мгле.

Боюсь, ты уходишь, неся свой девственный дар,  
Свою красоту в этот мир, мир взрослых зверей.  
Мне страшно представить очей прожорливый жар,  
Боюсь услышать пальцев скребущихся звук  
Двери. Две горсточки лет – и что, кроме мук,  
Останется мне от изменчивой детки моей?

Я был представлен, полюбовался властным лицом в свете фонаря, растрепанными рыжеватыми волосами, ладным податливым телом. Она мне улыбнулась и сказала, обращаясь к отцу:

– Господи, все что угодно за стаканчик, и все они, разу-

меется, вечно закрыты?

— Ох, я думаю, мы что-нибудь придумаем ради тебя, — отозвался ее папа, ухмыляясь. — Так ведь, Денхэм?

— *Вы* придумаете, конечно, — ответил я.

Она взяла Эверетта за руку, и они быстро пошли к ступенькам, Эверетт — с одним из ее чемоданов. Я подхватил другой, хотя меня не попросили и не поблагодарили. Видимо, она считала мужчин бесплатным к себе приложением. Ну и черт с ней. Потом я вспомнил, что я собирался впредь по-рыцарски великодушно относиться к дамам, как бы порочны они ни были. Когда мы поднялись по ступенькам и проходили через турникет, я смог рассмотреть ее красоту более внимательно. Она не подвела Эверетта — дочери поэтов не имеют права на уродство, и даже в большей степени, нежели поэтессы, обладают правом на красоту. Мы сели в такси, и, пока мы двигались к Бутл-стрит, Имогена энергично рассказывала отцу о жизни в Беркенхеде, с которой она теперь распрощалась, со злостью — о муже, который вроде бы служил в бюро перевозок, и — без удержу — о природе их сексуальной жизни. Водитель, не отделенный стеклом, с большим интересом наострил левое ухо.

— Но что же не так? — спросил Эверетт.

— Просто терпеть его не могу, вот и все, — ответила Имогена.

Она говорила на литературном английском, как репертуарная актриса.

– Да и никогда не могла, полагаю, нет, честное слово.

– Что ж, – вздохнул Эверетт, – тогда надо развестись. Но вроде бы у тебя нет никаких реальных оснований, не так ли? Кроме того, мы не в Америке живем, если не забыла.

– Я давала ему основания, – заявила Имогена пронзительным леденящим голосом, – множество. Но он и слышать не желает. Говорит, что любит меня.

Последний выкрик вылетел из открытого окна такси, когда мы остановились на светофоре.

Мужчина пересекавший улицу, слышав это, прищелкнул языком, одновременно дернув склоненной головой.

– Ты, – крикнула Имогена, – не суй нос не в свои дела. Наглый пидор!

В такси возникла атмосфера торопливо-смущенного покашливания, и мы рванули на зеленый. Мы свернули в боковую улицу, в одну из тех, где стеклянные витрины сплошь заполонили рояли, омытые холодным белым светом, потом в другую, и остановились у кофейни.

– Ну господи, нет, – простонала Имогена, – только не опять эти помои.

– Вы удивитесь, – сказал я, – что это пойло делает с недорослями, оно гораздо мощнее пива.

Она окатила меня взглядом, скроила недовольную мину и сказала:

– Я вам не недоросль.

Потом, пока водитель вытаскивал ее чемоданы из багаж-

ника, она заметила то, что уже увидел я, рядом с кофейней что-то, напоминающее вход в преисподнюю. Красная стрела указывала на погреб с надписью: КЛУБ ГИППОГРИФ. ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ.

Эверетт заплатил за такси и сказал чуть горделиво:

– Это я предложил название. Я, видите ли, один из отцов-основателей. Идемте вниз.

Чемоданы Имогены остались на моем попечении. Неуклюже спускаясь за отцом и дочерью по узким подвальным ступенькам, я чувствовал, что мы отправляемся на краткий отдых в ад, а Эверетт, подобно Вергилию, служит нам проводником. Он постучал в дверь, в стеклянном окошке появилось лицо, кивнуло, и нас пустили. Мэннинг оказался лысым, учтивым человеком в хорошем костюме. Слишком гладко выбрит, сигарета прилипла к губе. Клуб был что надо – скрытое дневное освещение, обои с рисунками кофейных столиков на бульваре и французскими булками, кресла с подушками в полумраке, молчащий сейчас музыкальный автомат. У стойки два маленьких местных бизнесмена накачивали мартини огромного американского коллегу, за стойкой стояла миссис Уинтерботтом, очень хорошо одетая, веселая и кокетливая. Она улыбнулась Эверетту и мне (стало очевидно, что меня она вообще не помнит), а Имогену одарила взглядом неопишемым – взглядом, которым привлекательная женщина оценивает красивую незнакомку. В полумраке я заметил вест-индийского гитариста. Когда Эверетт

отправился заказывать выпивку, гитарист ударил по струнам медиатором и затянул какую-то наивную карибскую песню.

– Спой нам «Дом на просторах»<sup>31</sup>, – потребовал американский бизнесмен, но заунывная песенка не прервалась.

Теперь я мог видеть в сумерках моложавую пару, евшую друг друга глазами между задумчивыми глотками джина с тоником, и тощего человека в очках на лице труженика, напряженно читавшего какую-то газету, хотя оставалось загадкой, как он видит мелкие буквы в этой амурной дымке. Мы с Имогеной сели на диванчик у стены поближе к бару, и Эверетт принес выпивку. Он и я в вечерней жажде пили темный эль, она, расслабившись, потягивала двойной розовый джин.

– Ах, – сказала она, – так-то немного лучше.

Я угостил их сигаретами.

– Мистер Денхэм, – объяснил Эверетт, – живет далеко на Востоке. Я пригласил его сюда поболтать и чтобы он поделился со мной чувствами человека, вернувшегося из ссылки. Все знают, как все изменилось в Англии с момента его последнего приезда. Для «Гермеса», – добавил он.

– О! – воскликнула Имогена. – Мне вас оставить наедине?

– Нет, нет, – испугался я. – Никакой особой спешки. В любом случае, – добавил я, – есть ли смысл сейчас скрывать то, что вскоре станет общеизвестно?

---

<sup>31</sup> «Дом на просторах» – гимн штата Канзас (стал официальным в 1947 г.); был написан как ковбойская песня в 1874 г... Официально авторы не установлены, но авторство слов приписывается Брюстеру Хигли, а музыки – Дэниэлю Келли.



– Нет, – туманно ответила она, – наверное, нет.

Потом радостно улыбнулась и сообщила:

– Но вы не знаете папочку, как я. Он не для интервью пригласил вас. Он пригласил вас, чтобы поговорить о стихах, разве не так, папочка?

– Я думаю, Имогена, – сказал Эверетт, – тебе *следует* сесть подальше. Я представлю тебя Элис, и ты можешь поговорить с ней.

– Не поймите меня превратно, – Имогена повернулась ко мне, – он и пенни не выручит за свою книгу стихов, не так ли, папочка? Это его долг, – сказала она, – перед литературой.

Каждый слог она произносила отдельно, четко, словно пародируя декламаторов прошлых времен – «ли-те-ра-ту-рой». Так произносил бы это слово бармен Седрик, если бы стал тамадой.

– И, – добавила Имогена, – чем-то и вы можете помочь. Вы выглядите весьма состоятельным. Вы швыряете деньги только на выпивку и на женщин.

Видимо, она презирала все: литературу, любовь, даже деньги.

– Что вы имеете в виду? – спросил я. – Как я могу «выглядеть состоятельным»?

– Вы холостяк, – ответила она. – Ни одна жена не позволила бы мужу выйти из дому с таким узлом на галстуке. Но на вас отличный костюм, и маникюр у вас профессиональный. И вам до смерти скучно. У вас дорогой портсигар и до-

рогушая зажигалка. У вас целая пачка «Летающих облаков». Вы вернулись с Востока.

Казалось, что она вдруг обозлилась.

– Да какого черта! Самое меньшее, что вы можете сделать, – это потратить пару сотен фунтов на моего отца. Разве это не святая обязанность богачей помогать бедным гениям, а?

Американский бизнесмен развалился на стуле, ухмыляясь.

– Вот-вот, – сказал он, – выдай им.

Другой из их компании заржал. Имогена запальчиво огрызнулась:

– Держи свой грязный нос подальше. Никто не спрашивал твоего мнения.

– Я думаю, – вмешался Эверетт, – этого хватит. Я думаю, ты сказала достаточно, Имогена. Мистер Денхэм – мой гость. Ты смутила и его, и меня.

– Я не дитя, – заупрямилась Имогена, – что хочу, то и говорю.

Потом она надулась.

– Ну ладно, извините.

Она взглянула на американца, засмеялась с неземной красотой и сказала:

– Извини, Техас. – И потом обратилась не то ко мне, не то к отцу: – Выпьем еще.

– Могу ли я вставить слово? – спросил я. – Как насчет

временного членства?

– Он же может, правда, Фрэд? – спросил Эверетт Мэннинга, который тревожно реял над нами.

Мэннинг кивнул и пообещал:

– Я принесу анкету.

Я отправился к бару и обратился к аппетитной пышке нордической красоты, которую я был уже удостоен называть по-простому – Элис.

– И один себе, – сказал я, созерцая ее в мирке из сверкающего стекла и гортанных мужских шуток и помня, что она дочь трактирщика.

Я вообразил ее прошлое: хорошенькая девчушка расцветает в кругу пьяниц, ее приводят в бар, чтобы все восхищались ее новым платьем, доброкачественная еда из хозяйской кухни в малой гостинной, крепкая молодая женщина, дышащая крепчайшим виски, потом всегда окруженная восхищенными мужчинами, которые после двух пинт быстро теряют застенчивость, всегда блюдущая себя, всегда на показ, всегда сама по себе. Она взяла себе скотч, улыбнулась мне и сказала:

– Будем здоровы!

Я отнес выпивку к столу и услышал, как американец сказал:

– Я не занимаюсь нефтью, эпоксидная смола – это другой продукт.

– Что крадут? – спросила Имогена.

– Да не крадут. А продукт. Эпоксидные смолы могут склеивать. Например, возьмем ветровое стекло самолета. Вы же не станете там использовать заклепки?

– Почему бы и нет? – ответила Имогена.

– Нет, нельзя из-за турбулентности вокруг заклепок, неужели не понятно?

– Нет, – сказала Имогена. – Но, – обернулась она к отцу, – я вас, мальчики, оставлю вдвоем. Пересяду к Техасу – пусть он расскажет мне все про *турбулентность* или как ее там.

Она подхватила выпивку и направилась к барной стойке.

Деляга, стоявший рядом с американцем, склонился в глубоком пьяном поклоне, словно парикмахер, предлагающий сесть в кресло. Вест-индийский гитарист прикончил бокал портера и затянул унылое калипсо о карибской политике. Не переносу народное искусство в больших количествах. Я упомянул об этом Эверетту, и он сказал:

– Мне в самом деле ужасно неудобно за все это, да и вам, наверное, тоже.

– Не обращайтесь внимания, – успокоил его я. – Мне приятнее говорить об этом, чем о моих чувствах вернувшегося скитальца. Кроме того, я отсутствовал-то всего два года.

– Да, – согласился Эверетт, расслабляясь, но все еще сидя на стуле, будто кол проглотив, – я не думаю, что все так быстро меняется, не так ли?

– Да уж, – ответил я. – Грешные продолжают зарабатывать деньги, а праведные продолжают в них нуждаться. Только

число грешников умножилось. Как бы то ни было, сколько вам нужно?

– Не могу сказать, что это выгодное вложение, – ответил он. – Вы ничего не получите от этого, если не считать, скажем, духовной удовлетворенности. Три сотни фунтов вполне достаточно.

– Вы хотите сказать, что я выброшу три сотни фунтов на ветер?

– О, – сказал Эверетт, – мы ведь должны заботиться о ценностях, разве не так? И, независимо от того, дурна моя поэзия или хороша, остается проблема принципов, правда же? В наши дни, когда даже сын мусорщика учится в университете, наверняка греховно и неправильно замалчивать безвестного Мильтона. О нет, – добавил он, ухмыльнувшись и хохотнув, – я не утверждаю, что я Милтон или даже близко.

– Не замолчанный и не безвестный, – сказал я. – Ваше имя на слуху. Думаю, какие-то ваши стихи даже войдут в антологии. Кое-что выживает, потому что в том есть необходимость.

Я отпил немного темного эля.

– Кому-нибудь ваше «Избранное» нужно?

– Да, – ответил Эверетт, каким-то образом одновременно затаив дыхание, – отдельное стихотворение или даже вошедшее в антологию значат очень мало. Важен весь корпус, картина всей личности поэта. И она должна быть предъявлена миру, моя поэтическая персона, я имею в виду. Я ждал

слишком долго. Может и времени у меня осталось не так уж много.

Было слышно, как Имогена сказала одному из дельцов:

– Ладно, не нравится – вали отсюда.

– Я должен подумать, – сказал я. – Да я и не так уж богат.

Я не могу просто так выбросить три сотни фунтов.

– Вы не выбросите их.

– Не выброшу?

Я вдруг разозлился, темперамент Имогены оказался заразен. Я подумал: все, что я нажил, я нажил среди москитов и мошкеры, змей в спальне, в долгой изнурительной жаре, скуке, раздражении от работы с местными чиновниками. Кто такие эти милые домоседы, милые доброхоты, чтобы пытаться выдурить мои деньги и раздражаться, если это у них не получается?

– Они будут потрачены в честь и во славу Эверетта, на толстенную книгу Эверетта, на неподдельный поэтический талант, – импровизировал я, – в лучших традициях. Недостаток оригинальности компенсируется добросовестным мастерством, хотя темы зачастую шаблонны.

– Так, – сказал он, – не хотите, как хотите.

– Я этого не сказал, я сказал, что должен подумать.

Было слышно, как Имогена говорит американцу:

– Ну ведь никто вас сюда не звал, разве не так? Если вам не нравится эта гребаная еда, то почему бы вам не...

Мэннинг уже засунул трехпенсовик в музыкальный авто-

мат, тот играл очень громко, обилие басов сотрясало стекла. Я говорил отчетливо, Имогена тоже, Эверетт сидел в раздраженном молчании.

– Да скажи ты ей, – обратился американский бизнесмен к Эверетту, заглушая автомат, – что все путем, просто скажи ей.

Казалось, Эверетт не слышит. Три бизнесмена взяли свои пальто из маленького алькова, где еще поместился и телефон. Они и Мэннинг исполнили сожаляющую пантомиму, рты открывались и закрывались с бесшумной энергией. Имогена и Элис были поглощены беседой, головы сдвинуты, губы время от времени прижаты к уху собеседницы – кивок, кивок, улыбнулись, нахмурились, глаза в глаза, музыкальный автомат для них не существовал. Дельцы ушли – без обид, все равно пора было уходить. Я посмотрел на часы – уже был седьмой час, и пабы открылись. Вечер? Выпивка, выпивка, выпивка, телевизор, кино. О боже, какая скука. Дай мне изменить место действия, дай мне добраться до Лондона. А что в Лондоне? Выпивка, ланч, выпивка, обед ...

Песня закончилась, застигнув Имогену и Элис за оживленной трепотней.

– Нет, моя дорогая, это он так думал о себе, но на самом деле ни бельмеса не соображая.

– Да, да, я знаю.

– Я хотела просто показать на примере...

Они почувствовали необычную тишину и захихикали.

Обе были очень красивы – светлая и темная головки, сложенные друг к дружке, взгляды обращены к нам, отличные зубы сверкают.

– Слава богу, вы выключили этот чертов грохот, – сказала Имогена.

Мэннинг ухмыльнулся, его трудно было оскорбить. Эверетт сидел мрачный, не прикасаясь к темному элю.

– Мы еще встретимся, – сказал я, – когда вернусь из Лондона. Я дам вам знать.

Он угрюмо кивнул. Мэннинг открыл дверь на тройной стук. Вошла девушка, улыбаясь через всю комнату Элис, ее свободе. Я подумал, что вошедшая не слишком привлекательна. Надо ли мне пригласить их пообедать, думал я – Элис, Имогену, Эверетта? Потом я решил не приглашать, черт с ними со всеми. Когда я брал пальто из алькова, то заметил, что молодящаяся пара все еще поела друга глазами – темная, безмолвная трапеза, пролетарий в очках читал (один бог знает как) газету, вест-индийский гитарист улыбнулся мне и протянул матерчатую кепку:

– Укажите чушь оважения к музыке, са. Большое спащи-бо, са.

Я покинул клуб и медленно поднялся на сверкающую улицу. Снова шел дождь.



## Глава 5

– Простите, у нас не было возможности сказать вам об этом, когда вы вернулись, – сказал Райс. – Как долго вы уже здесь, месяц?

– Около того, – ответил я.

Райс кивнул, руки в боки, ноги расставлены, сам на фоне стеной карты, испещренной флажками, каждый дюймом своим – глава экспортного отдела. Он сказал:

– Я понимаю, что у вас могут быть планы, скажем, махнуть в Биарриц или затеряться на Сицилии или еще где. Но я не должен вам напоминать, что ваш отпуск – привилегия, а не право.

– Точно, как в армии, – согласился я.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.